

Уильям Стегнер
**ОСТАНЕТСЯ
ПРИ МНЕ**
роман

CoRpus

РОМАН ЛАУРЕАТА ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ
— ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ — ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ

Уоллес Стегнер

Останется при мне

«Corpus (ACT)»

1987

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)

Стегнер У.

Останется при мне / У. Стегнер — «Corpus (ACT)», 1987

ISBN 978-5-17-098575-3

Американский писатель Уоллес Стегнер (1909–1993) – автор множества книг, среди которых 13 романов и несколько сборников рассказов, лауреат различных премий, в том числе Пулитцеровской. “Останется при мне” (1987) – его последний роман. Это история долгой и непростой дружбы двух супружеских пар, Лангов и Морганов. Мечты юности, трудности первых лет семейной жизни, выбор между академической карьерой и творчеством, испытания, выпавшие на долю каждого из героев на протяжении жизни – обо всем этом рассказывает Стегнер, постепенно раскрывая перед читателем сложность и многогранность и семейной жизни, и дружбы.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-17-098575-3

© Стегнер У., 1987
© Corpus (ACT), 1987

Содержание

I	6
1	6
2	13
3	17
4	24
5	35
6	44
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Уоллес Стегнер

Останется при мне

*М.П.С. – в благодарность за более чем полвека любви и дружбы;
и друзьям, которыми мы оба были счастливо наделены.*

*Пусть Время прибирает все к рукам.
Лишь то, с чем сквозь Таможни смог пробраться,
Останется при мне. Я не отдам
Того, с чем без излишних деклараций
К Надежным переправился Местам.*
Роберт Фрост

© Wallace Stegner, 1987. All rights reserved

© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2017

© Library and Archives Canada, фотография на обложке

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Издательство CORPUS ®

I

1

Всплывая, будто форель, сквозь сновидения, совмещенные с памятью, гибко проныривая через кольца минувших всплывтий, оказываюсь на поверхности. Открываю глаза. Бодрствую.

Так, должно быть, глядят на послеоперационный мир больные катарактой: с глаз снимается повязка – и каждая деталь видна отчетливо, словно впервые, но вместе с тем она знакома по временам хорошего зрения; воспоминание и действительность сливаются воедино, как в стереоскопе.

Явно еще очень раннее утро. Свет, полосками проникающий по краям жалюзи, мглистый, сумеречный. Но я вижу – или вспоминаю – или вижу и вспоминаю: окна без занавесок, голые потолочные балки, обшитые досками стены, на которых нет ничего, кроме календаря, висевшего тут, думаю, и в прошлый наш приезд восемь лет назад.

То, что выглядело вызывающе спартанским, теперь кажется ветхим. С тех пор как Чарити и Сид передали участок детям, ничего тут не подновлялось и не добавлялось. Могло бы сойти за пробуждение в семейном мотеле в нищем захолустье, но я ничего такого не чувствую. Я слишком много хороших дней и ночей провел в этом домике, чтобы он нагонял на меня тоску.

Чем-то даже, когда глаза привыкают к сумраку и я, подняв голову с подушки, осматриваюсь, комната вселяет чудное спокойствие, греет и в полутьме. Ассоциации, вероятно, но еще и цвет. Струганая сосна стен и потолка приобрела за годы насыщенный медовый оттенок, словно впитав в себя тепло людей, которые возвели это строение ради друзей, как убежище для них. Я истолковываю это как предзнаменование; и даже напомнив себе, почему мы здесь, не избавляюсь от ощущения родства и ласковости, которое испытал, проснувшись.

Воздух такой же знакомый, как комната. Обычный для летнего коттеджа легкий запах мышей, плюс слабый, не-неприятный намек на былые появления скунсов под домом, но помимо этого и сквозь это – какая-то бодрящая высокогорность. Иллюзия, конечно. То, что пахнет высотой, на самом деле широта. Канадская граница всего в каком-нибудь десятке миль, и ледник, который оставил тут следы повсюду, кажется, не ушел навсегда – только отступил. Что-то в воздухе, даже августовском, предвещает его возврат.

Если забыть о смертности – а здесь это всегда было легче, чем в большинстве других мест, – то можно, пожалуй, поверить, что время идет по кругу, а не линейно, не поступательно, как всеми силами старается доказать наша культура. В геологическом плане мы не что иное, как будущие окаменелости: нас похоронят, а потом, когда-нибудь, выставят для показа грядущим существам. Что геологически, что биологически мы не заслуживаем внимания как индивидуальности. Мы не так уж сильно друг от друга отличаемся, каждое поколение повторяет своих родителей, и то, что мы сооружаем в надежде, что оно переживет нас, не намного долговечней муравейников и куда менее долговечно, чем коралловые рифы. Здесь все возвращается на круги своя, повторяется и возобновляется, и настоящее мало отличимо от прошлого.

Салли еще спит. Я встаю с кровати и иду босиком по прохладному деревянному полу. Календарь, когда прохожу мимо, поправляет меня: он не тот, что мне припомнился. Он безосновательно утверждает, что на дворе 1972 год, август.

Дверь, когда я осторожно ее открываю, скрипит. Бодрящий воздух, серый свет, серое озеро внизу, небо, сереющее сквозь хвойные лапы тсуги – эти деревья высоко вздымаются

над крышей веранды. В былые годы летом мы с Сидом не раз спиливали эти деревья-сорняки, чтобы в гостевом доме было светлее. Уничтожали только отдельные экземпляры, искоренить здесь тсугу как вид у нас и в мыслях не было. Тсуге нравится этот крутой берег. Подобно другим видам, она держится за свою территорию.

Возвращаюсь, беру со стула свою одежду – ту же, что была на мне еще в Нью-Мексико, – и одеваюсь. Салли спит и спит, утомленная долгим перелетом и пятью часами езды из Бостона. Слишком трудный для нее был день, но о том, чтобы сделать остановку, заночевать где-то по пути, она и слышать не хотела. Позвали – значит, надо быть.

Стою некоторое время, слушаю ее дыхание и думаю: решиться ли выйти, оставить ее? Спит крепко, просыпаться явно пока не собирается. Никто в такую рань сюда не придет. Этот кусочек утра – мой. На цыпочках выхожу на веранду и подставляю себя тому, что, по всем ощущениям, с равным успехом можно датировать и 1972-м, и 1938 годом.

Никто на участке Лангов пока не встал. Ни светящихся сквозь листву окон, ни дымка в воздухе. Иду мимо деревянного сарая по пружинящей лесной тропинке, выхожу на дорогу, и там меня встречает небо, слегка светлеющее на востоке, с утренней звездой, горящей ровно, как лампа. Из-под деревьев оно казалось мне пасмурным, но тут я вижу над собой бледную, безупречно чистую опрокинутую чашу.

Ноги сами несут меня по дороге к воротам и дальше. Сразу после ворот путь раздваивается. Я поворачиваю не к Верхнему дому, а направо, по узкой грунтовой дороге, которая поднимается на холм, огибая его вершину. Джон Уайтмен, чей дом стоит у ее конца, умер пятнадцать лет назад. Сердиться на то, что я здесь иду, он не будет. Я сотни раз в прошлом проходил этим чудесным потаенным коридором между деревьями, который нынешним утром наполняют птичьи голоса и шорох маленьких пугливых существ, – этой самой моей любимой из всех дорог.

Все мокрым-мокро от росы. В папоротниках хоть мой руки, а когда срываю листок с кленовой ветки, голову и плечи обдает точно душем. Через лиственный лес у подножья холма, через полосу кедров, растущих на влажной от родников земле, и дальше по крутому склону, поросшему елями и бальзамином, я двигаюсь чутко, услаждая зрение. Вижу на глинистой земле следы енотов, взрослого и двух маленьких; вижу спелые травы, гнущиеся от влаги крутыми дугами; вижу пятнистые оранжевые шляпки мухоморов, к концу лета плоские или даже вогнутые, удерживающие воду; вижу миниатюрные “лесочки” из плауновых. Под широкими юбками елей – коричневые пещеры, убежища для мышей и зайцев.

Ноги уже мокрые. Где-то поодаль пробует голос – словно вспоминает полузабытую песню – белогорлый воробей. Смотрю влево, пытаюсь разглядеть выше по склону холма Верхний дом, но вижу только деревья.

Всхожу на холм, и передо мной распахивается все небо, огромное и полное света, утопившего звезды. Оно обрамлено холмами, наслаивающимися друг на друга. Над горой Стэннард в воздухе точно разлито горячее золото, и, пока я смотрю, солнце поднимается над вершиной и заставляет меня опустить глаза.

Мы не удовольствия ради приехали в этот раз сюда, на озеро Баттел-Понд. Мы приехали из любви и семейной солидарности, приехали, потому что нас, давно принятых в клан, просили и ждали. Но я не могу сейчас проникнуться печалью, как не мог проникнуться ею чуть раньше, проснувшись в неказистом старом гостевом доме. Совсем наоборот. Не знаю, чувствовал ли я себя когда-нибудь таким живым, так ясно мыслящим, пребывающим в такой согласии с собой и миром, как в эти несколько минут у вершины знакомого холма при виде солнца, мощно и уверенно поднимающегося по небосклону, при виде деревни внизу, за годы совсем не изменившейся, озера, блестящего, как разлитая ртуть, зелени разных оттенков – пастбище, луг, сахарный клен, черная ель – все словно приподнимается от тепла, сокращая тени.

Тут оно было, тут оно и осталось – место, где в лучшие годы нашей жизни обитала дружба, квартировало счастье.

Вернувшись, вижу, что Салли села, жалюзи на ближнем к ней окне, до которого она может дотянуться, поднято, и комнату пересекла солнечная полоса. Салли пьет кофе, налив себе чашку из термоса, и ест банан из корзинки, которую оставила вечером Халли, когда привела нас сюда ночевать.

– Не завтрак, – сказала Халли. – Так, легкая закуска. *Чота хазри*¹. Мы зайдем и пригласим вас на завтрак, но он будет поздний. Вы устали, выбились из графика. Так что спите, а мы зайдем примерно в десять. После завтрака – к маме, а потом, во второй половине дня, пикник на Фолсом-хилле. Так она хочет.

– Пикник? – переспросила Салли. – Он ей по силам будет? Если она ради нас его затекает, то не надо.

– Так она распорядилась, – ответила Халли. – Сказала: вы будете уставшие, надо дать вам отдохнуть, и если она так сказала, значит, вам надлежит быть уставшими. Если она затекает пикник, вам полагается хотеть пикника. Нет, она справится. Она бережет силы для дел, которые имеют для нее значение. Хочет, чтобы было как в старые времена.

Поднимаю другие два жалюзи, и сумрачная комната освещается.

– Куда ты ходил? – спрашивает Салли.

– По старой Уайтменовской дороге.

Наливаю себе кофе и сажусь в плетеное кресло, которое помню как предмет мебели с Ноева ковчега. Салли смотрит на меня с кровати.

– И как там?

– Красиво. Тихо. Приятный лесной, земляной запах. Все как было.

– Завидую.

– Я потом свожу тебя на машине.

– Нет, мы же на пикник, этого достаточно. – Прихлебывает кофе, глядя на меня поверх чашки. – Вся она в этом! Стоит на пороге смерти – и хочет, чтобы было как в старые времена, и *велит* устраивать все соответственно. И беспокоится, что мы устали. Какую зияющую дыру она по себе оставит! Да уже и *есть* дыра, с тех пор как мы... Ты не ощутил никакого отсутствия?

– Никакого. Только присутствие.

– Хорошо, я рада. Не могу вообразить себе этого места без них. Без них обоих.

Многолетняя инвалидность иных наделяет некой надмирностью, иных побуждает жалеть себя, иных озлобляет. Салли она всего лишь сделала более явственной, более такой, какая она есть. Даже когда она была молода и здорова, она могла выглядеть до того спокойной, до того отрешенной от порывов и болей людских, что иные заблуждались на ее счет. Сид Ланг, который отнюдь не обделен восприимчивостью и в свое время, несомненно, был в нее немножко влюблен, называл ее Прозерпиной и дразнил строками из Суинберна:

Богиня ждет бесстрастно
Под блеклою листвою
И смертных манит властно
Бессмертною рукой².

¹ Легкий завтрак (из англо-индийского лексикона). (Здесь и далее – прим. перев.)

² Из стихотворения английского поэта Алджернона Чарльза Суинберна (1837–1909) “Сад Прозерпины”, пер. Г. Бена.

Холод ее бессмертных рук стал для нас с ней предметом шуток. Но тихой она научилась быть гораздо раньше, еще в те годы, когда ее матери приходилось пристраивать дочь, как сверток, в любом удобном месте, – тихой, как юная лань, которая должна, если мать уходит, лежать неподвижно, скрытно, не распространяя запаха. Незримая рука очень рано придала ее лбу безмятежность изваянной скульптуры; кажется, что внутри она так же спокойна, как снаружи. Но я знаю ее давно. Возраст и болезнь, облагородив ее лицо, сделав виски и скулы хрупкими и изящными, сосредоточили ее существование в глазах.

Сейчас они, эти глаза, уличают ее пассивное, приемлющее лицо во лжи. Они глядят затуманенно, беспокойно. Она смотрит на свои пальцы, которые сплетает, расплетает, опять сплетает, к которым обращается.

– Она мне приснилась. Под утро, перед самым пробуждением.

– Что ж, это естественно.

– Мы из-за чего-то ругались. Она хотела, чтобы я что-то сделала, я сопротивлялась, и она была в ярости. Я тоже. Ну не погано ли с моей стороны сейчас... – Она умолкает, а затем, как будто я ей возразил, горячо продолжает: – Они единственная наша семья, единственные родные люди, какие есть и были. Без них наша жизнь сложилась бы совсем по-другому и гораздо трудней. Мы не познакомились бы с этим местом, не сошлись бы с людьми, которые так много для нас значили. У тебя с карьерой все было бы намного хуже: мог бы застрять в каком-нибудь заштатном колледже. Если бы не Чарити, я не осталась бы в живых. Не захотела бы.

– Я знаю.

Я сижу спиной к окну. На прикроватном столике – стакан с водой, который я поставил вечером для Салли. Свет низкого солнца, преломленный стаканом, создает на потолке радужный овал. Вытягиваю ногу и легонько толкаю столик. Многоцветный овал колеблется. Поднимаю руку и преграждаю лучу путь к стакану. Радуга пропадает.

Салли, хмурясь, наблюдает за мной.

– Что ты хочешь этим сказать? Что все кончено? Что надо принять это как данность? Я устаю принимать. Устаю слушать, что Господь дает ношу по силам. Кто это сказал?

– Не знаю. Я не говорил.

– Может быть, это и правда, но с меня хватит. Просыпаюсь здесь, где все мне о них напоминает, и мне снится, что мы ссоримся, и я думаю про то, как позволяла себе судить ее и как долго это продолжалось, и мне просто хочется плакать и скорбеть.

Упрекая себя, она делает брезгливое лицо. Мы смотрим друг на друга, нам обоим неуютно. Она, похоже, нуждается в некоем проявлении уныния с моей стороны, и поэтому я говорю:

– Я тебе скажу, где ощутил отсутствие. Вчера вечером, когда мы приехали. Я знал, что Чарити не выйдет нам навстречу с фонариком, но на Сиду я надеялся. Видимо, он там постоянно нужен. Когда появились только Халли и Моу как доверенные лица, сердце у меня упало, я почувствовал, насколько все серьезно. Но сегодня утром я это забыл, ощущение было такое же, как всегда.

– Зря она внушила себе, что мы будем слишком уставшие, чтобы прийти прямо с утра. Очень на нее похоже. Видимо, придется ждать до полудня. Подними меня, пожалуйста. Мне надо встать.

Закрепляю на ее ногах металлические фиксаторы, подхватываю ее под мышки, ставлю на ноги и даю ей костыли с опорой под локоть. С их помощью она движется в ванную. Я иду следом, и когда она, встав перед унитазом, наклоняется освободить колени, я опускаю ее на сиденье и оставляю одну. Через некоторое время она стучит в стену, я вхожу и поднимаю ее. Она снова застегивает фиксаторы и начинает умываться над раковиной с налетом от солей в родниковой воде. Через несколько минут выходит причесанная, смывшая с лица остатки

сна. У кровати опять наклоняется к коленям, расстегивает замки и внезапно садится, точно падает на смятое одеяло. Я поднимаю ее ноги на кровать, подкладываю под спину подушки, устраиваю ее поудобнее.

– Как себя чувствуешь? Что-нибудь не так?

– Пожалуй, Чарити права. Устала.

– Может быть, еще поспишь? Хочешь, сниму фиксаторы?

– Нет, оставь. Меньше будет тебе хлопот, если мне придется тебя позвать.

– Да какие там хлопоты.

– Ну как какие, – возражает она. – Изрядные. Изрядные! – Прикрывает глаза. Потом вновь улыбается. – Как насчет того, чтобы очистить нам апельсин?

Я чищу нам апельсин и наливаю остатки кофе из термоса. Она полусидит, прислонясь к изголовью кровати, ноги – тонкая прямая линия под одеялом, лицо приняло одно из тех ее задорных, озорных выражений, которыми она словно говорит: ну до чего весело!

– Мне нравится эта идея с *чота хазри*, – говорит она. – А тебе? Это как в Италии, когда мы просыпались рано и ты готовил чай. Или в отеле “Тадж-Махал” в Бомбее. Помнишь тамошний завтрак? Фрукты и чай, а здесь – фрукты и кофе. Не хватает только большого потолочного вентилятора вроде того, который сломался, когда Ланг бросила в него подушку.

Я оглядываю голые стены, голые стойки, голые балки, простые зеленые жалюзи без занавесок. Все остальное, что имеется на территории, даже Большой дом, выдержано примерно в таком же духе. Чарити ровным слоем накладывала строгую простоту на себя, на свою семью, на гостей.

– Ну, – приходится мне сказать, – *не совсем* как в отеле “Тадж-Махал”.

– Лучше.

– Может быть, и лучше.

Она роняет на колени полусжатую в кулак руку с половинкой апельсина – руку, которая никогда полностью не разожмется, потому что, когда Салли была в “железном легком”³, все мы, даже Чарити, которая обычно ничего не упускала из виду, были так сосредоточены на том, чтобы она дышала, что кистью руки заняться забыли. Она слишком долго оставалась в сжатом положении. Теперь спокойное самообладание, тихое стоическое смирение опять покидает Салли на время. По глазам вижу, что ее одолевают эмоции и что она переутомлена.

– Ах, Ларри, Ларри, – с укором обращается ко мне она. – Не говори мне, что не опечален. Ты так же опечален, как я.

– Только когда смеюсь, – отвечаю словами из песни, ибо, какие бы эмоции ее ни одолевали, она не более терпима к вытянутым лицам, чем Чарити. Она принимает упрек, позволяет мне подоткнуть одеяло, позволяет себя поцеловать, улыбается. Опускаю жалюзи. – Халли и Моу придут через два-три часа, не раньше. Поспи. У нас в Санта-Фе только пять утра. Я тебя разбужу, когда они явятся.

– А сам что собираешься делать?

– Ничего особенного. Буду сидеть на веранде, присматриваться, принимать, пребывать *в поисках утраченного времени*.

Чем я довольно долго и занимаюсь. Усилий это не требует. Все здесь к этому побуждает. С высокой веранды лес, спускающийся к озеру, выглядит чем-то большим, нежели просто знакомое, излюбленное место. Это среда обитания, к которой мы когда-то были сполна приспособлены, некое Безмятежное Царство, где виды, подобные нашему, могут эволюционировать без помех и находить свою ступень на лестнице бытия. Сидя и глядя на этот мир,

³ “Железное легкое” – устройство искусственного дыхания для страдающих параличом дыхательных мышц при полиомиелите.

я опять, как на Уайтменовской дороге, был поражен его неизменностью. Свет побуждает и к тихой грусти по былым утрам, и к оптимистическому ожиданию новых утр.

Кроме птичьего щебета и редких звуков пробуждения из коттеджей, упрятанных среди деревьев слева от меня – то стукнет что-то, то хлопнет какая-то дверь, – тишину здесь, пока я сижу, почти ничто не нарушает. Только раз некое подобие вторжения: шум лодочного мотора, он назревает, растет, наконец из-за мыса вылетает и сворачивает в бухту белое судно с водным лыжником, оставляя за собой расходящийся след, который лыжник фигурно пересекает туда-сюда. Они выписывают внутри бухты большую петлю и с рокотом мчатся обратно; шум, когда они скрываются за мысом, быстро сходит на нет.

Рановато для таких забав. И, надо признать, проявление перемен. В былые дни из своих творческих убежищ уже выскочили бы, как потревоженные гномы, десятки ученых мужей и потребовали бы прекратить безобразие.

Но если не считать этого единственного вторжения – покой, тот самый, что я раньше знал на этой веранде. Вспоминаю первый наш приезд сюда, нас, какими мы тогда были, и это приводит на ум мой нынешний возраст: шестьдесят четыре года. Хотя я всю жизнь был занят, может быть, слишком занят, сейчас мне кажется, что я достиг мало чего существенного, что мои книги никогда не передавали всего, что было у меня в голове, и что вознаграждение – неплохой доход, известность, литературные премии, почетные степени – всего лишь мишура, не то, чем пристало довольствоваться взрослому человеку.

Во что переросло объединявшее нас стремление усовершенствовать себя, раскрыть свои возможности, оставить след в мире? Наши самые жаркие споры всегда были о том, как *внести вклад*. О вознаграждении мы не беспокоились. Мы были молоды и серьезны. Мы никогда не обманывались на свой счет, не думали, что у нас есть политические таланты к переустройству общества, к установлению социальной справедливости. Деньги сверх базового минимума не были для нас целью, достойной уважения. Кое-кто из нас даже подозревал, что деньги приносят человеку вред, – отсюда склонность Чарити к безыскусной, простой жизни. Но все мы надеялись, каждый по своим способностям, определить для себя и показать другим некий образ достойной жизни. Я всегда стремился сделать это словесно, Сид тоже, хоть и с меньшей уверенностью. У Салли это было сочувствие, понимание, мягкость по отношению к людскому упрямству или слабостям. У Чарити – организация, порядок, действие, помощь неуверенным, руководство колеблющимися.

Оставить след в мире... Вместо этого мир оставил следы на нас. Мы постарели. Каждый из нас претерпел от жизни по-своему, и теперь кто-то лежит в ожидании смерти, кто-то ходит на костылях, кто-то сидит на веранде, где некогда всю бродили юные соки, и чувствует себя старым, мало на что годным, сбитым с толку. В иных настроениях меня тянет пожаловаться, что мы опутаны сетями, хотя, конечно, мы опутаны не туже, чем большинство людей. И все мы, все четверо, думаю, можем как минимум быть довольны тем, что наши жизни нельзя назвать вредными или разрушительными. Кто-то менее удачливый может даже нам позавидовать. Я готов оказать себе некое сдержанное снисхождение, ибо, сколь бы глуп, зелен и наивно оптимистичен я ни был в начале пути и сколь бы тяжело я ни тащился последние мили этого марафона, ни в чем по-настоящему постыдном я упрекнуть себя не могу. И никого из четверки – ни Салли, ни Сиды, ни Чарити. Мы сделали массу ошибок, но мы ни разу никому не подставили подножку, ни разу в нарушение правил тайком не срезали угол. Мы честно пропыхтели всю дистанцию.

Я плохо знал себя раньше, да и сейчас не очень хорошо знаю. Но я знал и знаю тех немногих, кого любил и кому доверял. Мои чувства к ним – та часть меня, с которой я никогда не ссорился, пусть даже отношения с ними самими иной раз становились негладкими.

В одном из старших классов в Альбукерке, Нью-Мексико, я и еще несколько человек целый год читали Цицерона: *De Senectute* – “О старости”, *De Amicitia* – “О дружбе”. До

чего-либо похожего на смиренную мудрость *De Senectute* я, наверное, никогда не сумею подняться. Но что касается *De Amicitia* – тут я делал попытки все последние тридцать четыре года, и, пожалуй, небезуспешно.

2

Когда мы добрались до Миссисипи, шел дождь. Проезжая через Дебьюк, тряслись по улицам, мощеным кирпичом, между неказистыми домами с высокими верандами и крутыми скатами крыш, среди которых тут и там торчали кирпичные церковные башни со шпилями; затем двинулись к реке по длинной аллее, обсаженной вязами и похожей на храмовый неф. Для моих западных глаз это была другая страна, такая же необычная, как Северная Европа.

Дорога поднималась к мосту параллельно дамбе. Поверх нее мы видели широкую синевато-серую водную гладь с зелеными островками и крутой противоположный берег, зеленый и блестящий под дождем.

– Добро пожаловать в Висконсин, – проговорил я.

Салли пошевелилась и улыбнулась мне еле заметной терпеливой улыбкой. Мы пробыли в пути трое суток – почти по шестьсот миль в день по всевозможным дорогам, труднее всего дались мили дорожных работ в Небраске, а Салли была три месяца как беременна. Чувствовала она себя сейчас, по всей вероятности, под стать погоде, но старалась не раскидывать. Поглядела на реку вниз по течению, где два параллельных моста соединяют Айову с Иллинойсом, потом посмотрела вперед, где дорога, изгибаясь, поднималась из приречной впадины к волнистым полям Висконсина.

– Ха! – сказала она. – *Vita nuova*⁴. Наконец-то.

– Еще часа два.

– Я выдержу.

– Я знаю.

Мы поднялись на высокий берег. Дождь неуклонно поливал узкую дорогу, поворачивающую под прямыми углами, белые сельские домики и красные амбары с рекламой “золотого эликсира доктора Пирса”, рыжеющие сентябрьские кукурузные поля, загоны со свиньями, стоящими по колено в жиже. Он лил не переставая, когда мы проезжали Платтвилл, Минерал-Пойнт, Доджвилл, и по-прежнему лил, когда где-то за Доджвиллом от стеклоочистителя отлетела щетка и голый металл начал выпцарапывать на ветровом стекле сумасшедшую дугу. Решив не задерживаться для починки, я ехал от Маунт-Хореба до Мадисона, высунув голову в окно; дождь мочил мне волосы, вода затекала под воротник рубашки.

Поток транспорта привел нас прямо на Стейт-стрит. Как бы Салли себя ни чувствовала, мне было интересно. То, во что мы въезжали, давало нам первые жизненные шансы. Я знал, что университет находится в одном конце Стейт-стрит, а здание законодательного собрания штата – капитолия – в другом, и я не мог удержаться: проехал ее всю, а потом повернул назад, просто чтобы хоть немного освоиться. Тут я увидел вход в гостиницу, а рядом – место для парковки; я сразу туда. Когда открывал дверь машины, чтобы рвануть к навесу над входом, Салли сказала:

– Не надо, если дорого.

Я подошел к гостиничной стойке – с волос у меня капало, плечи были мокрые. Администратор плоско положил обе ладони на ореховую древесину и посмотрел на меня с недоверием.

– Сколько стоит номер на двоих?

– С ванной или без ванны?

Несколько секунд колебаний.

– С ванной.

– Два семьдесят пять.

⁴ Новая жизнь (итал.). Аллюзия на книгу Данте.

Этого-то я и боялся.

– А без?

– Два двадцать пять.

– Надо посоветоваться с женой. Я вернусь.

Я вышел под навес. Дождь поливал мокрую улицу отвесными струями. За какие-нибудь пятнадцать шагов до машины я еще раз хорошенько вымок. Втиснувшись в тесный сыроватый салон, я должен был снять очки, чтобы увидеть Салли.

– Два семьдесят пять с ванной, два с четвертью без.

– Ох, слишком дорого!

У нас было сто двадцать долларов в дорожных чеках – на них надо было прожить до первого октября, когда у меня будет первая зарплата.

– Я подумал, может быть... Это была тяжелая поездка для тебя. Принять горячую ванну, переодеться в чистое, хорошо поужинать – а? Просто чтобы начать тут по-человечески.

– Начать по-человечески – пользы мало, если в карманах будет пусто. Давай поищем что-нибудь подешевле.

В конце концов мы нашли приземистое одноэтажное бунгало с рекламным щитом на лужайке: “Ночлег и проживание”. Хозяйка была дородная немка с зобом, в комнате было чисто. Полтора доллара, завтрак включен. Мы протащили тот багаж, какой был нам нужен, через кухню, по очереди приняли ванну (горячей воды было вдоволь) и легли спать без ужина, потому что Салли сказала, что устала и есть не хочет, к тому же мы поздно обедали сухим пайком, не доезжая Уотерлу.

Утром под непрекратившимся дождем мы отправились искать постоянное жилье. До осеннего семестра оставалось две недели. Мы надеялись опередить наплыв желающих.

Не опередили. Одни предложили нам дом за сто долларов в месяц, другие квартиру за девяносто; ничего даже близкого к приемлемому, пока нам не показали маленькую, плохо обставленную полуподвальную квартирку на Моррисон-стрит. Шестьдесят долларов в месяц, вдвое больше того, что мы рассчитывали тратить, но лужайка на задах дома, обнесенная низеньким кирпичным заборчиком, выходила на озеро Монона, и нам понравился вид проплывающих яхт. Обескураженные, боясь, что потратим две недели и не найдем ничего лучшего, мы согласились.

Безрассудство. Плата за первый месяц уменьшила наши сбережения вдвое и заставила нас засесть за серьезные расчеты. Мой годовой оклад – две тысячи, годовая квартплата – семьсот двадцать, остается тысяча двести восемьдесят на еду, напитки, одежду, развлечения, книги, разъезды, медицину и мелкие расходы. Даже если покупать молоко по пять центов за кварту, яйца по двенадцать за дюжину и гамбургеры по тридцать за фунт, на напитки и развлечения остается немного. Вычеркнуть их. Расходы на медицину и неизбежны, и непредсказуемы. В Беркли дородовое наблюдение и рождение ребенка – пятьдесят долларов, но сколько это стоит здесь, неизвестно, как и стоимость послеродового ухода и услуг педиатра. На всякий случай надо экономить на чем только можно. Что до мелких расходов, они должны быть совсем мелкими. Вычеркнуть их тоже.

Быть молодым и в стесненных обстоятельствах – это в каком-то смысле даже красиво. Если жена какая надо – а это как раз мой случай, – то бедность становится игрой. Потратив в последующие две недели несколько долларов на белую краску и занавески в горошек, мы устроились. Моим кабинетом на время до рождения наследника сделался теплый и сухой котельный отсек. Письменным столом стал картонный столик, книжный шкаф я смастерил из нескольких досок и кирпичей. По мне, молодой преподаватель, сооружающий книжные полки, – самый счастливый человек на свете, а самую довольную на свете пару составляют этот молодой преподаватель и его жена, любящие друг друга, имеющие какой-никакой зара-

боток, переживающие ту нижнюю фазу экономической депрессии, когда дальше падать уже некуда, и вступающие в свой первый год действительно взрослой жизни, когда вся подготовка позади и вот оно, настоящее.

Мы были бедны, полны надежд, счастливы. Знакомиться пока еще было почти не с кем. За первую неделю, когда мне еще не надо было в университет, я написал рассказ – точнее, он сам написался, вылетел, как птица из клетки. В послеполуденные часы мы ощупью прокладывали себе путь в то странное сообщество, наполовину научно-преподавательское, наполовину политическое, которым в 1937 году был Мадисон. Мы припарковывали наш “форд” и гуляли. От нашей квартиры до Баском-Холла, где я получил кабинет, было полторы мили: вокруг капитолия, потом по Стейт-стрит и вверх на Баском-хилл. Когда начались занятия, я каждый день ходил пешком туда и обратно.

Салли, которая хотела работать и которую тревожила скудость нашего бюджета, поместила объявление на стенде в университете, что она быстро и чисто печатает диссертации и курсовые работы, но заказчиков не нашлось: не сезон. Когда я начал преподавать, ей приходилось долгие часы проводить одной.

На той глубокой стадии Великой Депрессии университеты перестали повышать преподавателей в должности и почти перестали кого-либо нанимать. Я получил работу по чистой случайности. В прошлом году, заканчивая в Беркли аспирантуру, я ассистировал одному приглашенному профессору – проверял студенческие работы – и понравился ему, и он замолвил за меня слово, когда в Висконсине в последнюю минуту открылась вакансия. Я стал одной-единственной пробкой, которой заткнули одну-единственную дырку на один-единственный учебный год. Мои коллеги, преподаватели низшего разряда со стажем в один-два года, застряли в своем ненадежном положении и старались хотя бы удержаться. Они образовали сплоченную группировку и если и принимали меня в свои разговоры, то осторожно и с подозрением. Все они, казалось, окончили Гарвард, Йель или Принстон. Гарвардские и принстонские носили галстуки-бабочки, йельские ходили в серых фланелевых брюках, слишком высоких в паху и слишком коротких внизу. Все три категории носили твидовые пиджаки, которые выглядели так, будто под подкладку наложили яблок.

У меня даже с напарником по кабинету не было возможности поговорить. Моим номинальным соседом был Уильям Эллери Ленард, наш кафедральный литературный мэтр, прославившийся своей необычной теорией англосаксонской просодии, своей романтической и трагической личной жизнью, описанной им в длинной поэме “Две жизни”, своим скоропалительным браком с молодой женщиной, которая получила в кампусе прозвище Внучка-Златовласка и оказалась предательницей, своим былым обыкновением отплывать на спине по озеру Мендота далеко от берега в шлеме из кабаньих клыков, декламируя “Беовульфу”.

Я ждал соседства с Уильямом Эллери с немалым интересом, но почти сразу выяснилось, что из-за усугубившейся агорафобии он не отходит от своего дома дальше, чем на квартал. Меня потому и подселили к нему, что кабинет, который нельзя было у него отобрать, фактически был свободен. Он сидел дома и, похоже, ждал возвращения Внучки. За год он так ни разу в кабинете и не появился, но его картины, книги, бумаги и памятные вещицы смотрели на меня, сползали, опрокидывались и только что не падали мне на голову в углу, где я с трудом нашел для себя рабочее пространство. Приходя туда вечером, я ощущал его присутствие, как некоего полтергейста, и никогда не задерживался надолго.

Так началась наша новая жизнь: две одинокие недели обустройства, затем первая рабочая неделя – регистрация студентов, распределение нагрузки, чехарда с аудиториями, знакомство с группами... узнаваемая рутина вступила в свои права. Затем, в конце первой недели занятий, – прием у заведующего кафедрой. Я помыл свой “форд”, мы приоделись и отправились к нему домой, неуверенные в себе и настороженные. Собралось человек сорок-пятьдесят – имена и фамилии мы не могли толком расслышать или тут же забывали, мы

путали людей друг с другом. Иные из молодых преподавателей, в том числе пара, которую я нашел довольно-таки высокомерной, так жадно налегали на херес, что из одной лишь гордости я отказался им уподобляться. Салли, еще более чужая в этой компании, чем я, не отходила от меня.

Большую часть двух часов мы провели с профессорами постарше и их женами, чем, вероятно, в один миг заработали себе у наших сверстников репутацию подхалимов. Да, мы оба старались произвести хорошее впечатление – что может быть естественней? Мне даже показалось, что Салли получает удовольствие. Она общительна, люди интересуют ее просто как люди, и она куда лучше меня запоминает имена и лица. К тому же ей давно не доводилось бывать ни на какой вечеринке, даже ни на каком кафедральном чаепитии.

Мне кажется, мы оба не без грусти расстались в тот день с этими коллегами, с этими незнакомцами, которым, может быть, предстояло сыграть немалую роль в нашем будущем, и отправились домой, в наш подвал, где поужинали тем, что необременительно для бюджета, но настроения не поднимает. После ужина сидели на заборчике над озером Монона и смотрели на закат, а потом ушли внутрь, и я стал готовиться к занятиям, а Салли принялась читать Жюль Ромэна. В постели мы были нежны друг к другу – “детишки в лесу” из сказки, затерянные в чужом, безразличном к ним краю, слегка приунывшие, слегка напуганные.

3

Однажды на следующей неделе я пришел домой около четырех. Спускаясь по ступенькам, подал голос: “Эгегей!”, чувствуя, что Салли надо подбодрить, что она нуждается в чем-то хорошем извне. В дверях приостановился, ослепленный темнотой нашей пещеры после яркого дня.

– Господи, радость моя, – сказал я, – почему ты в потемках сидишь? Прямо какой-то задний вход в черную корову.

Кто-то засмеялся – женщина, не Салли. Я нащупал выключатель и обнаружил их обеих: Салли на кушетке, гостью на нашем не слишком удобном стуле. Между ними на самодельном кофейном столике (опять-таки доски и кирпичи) лежал чайный поднос. Они сидели и улыбались мне. Улыбку Салли я хотел бы видеть, переходя в мир иной, но в ней есть некая отстраненность, это улыбка под контролем, за ней зримо продолжается мыслительная работа. У гостьи же, у высокой молодой женщины в голубом платье, была улыбка совсем иного рода. В сумраке комнаты – сияние. Волосы были стянуты сзади в пучок, словно чтобы освободить лицо для полноты выражения, и все в этом лице улыбалось: губы, зубы, щеки, глаза. У нее, хочу сказать, было чрезвычайно живое и, сразу видно, по-настоящему красивое лицо.

Изумление. Я стоял в дверях и моргал.

– Простите меня, – сказал я. – Я не знал, что у нас тут приятное общество.

– Пожалуйста, не называйте меня *обществом*! – запротестовала гостья. – Я не для того пришла, чтобы *составить вам общество*.

– Это Чарити Ланг – помнишь, Ларри? – сказала Салли. – Мы познакомились на чаепитии у Руссело.

– Конечно, помню, – подтвердил я и пожал гостье руку. – Я не сразу вас увидел. Здравствуйте, как поживаете?

На самом деле я ее совсем не помнил. Как я мог ее тогда не заметить? Даже среди многолюдья на этом чопорном приеме она не могла не выделяться, точно светящийся маяк.

Ее речи были такими же оживленными, как лицо. Каждое четвертое слово она выделяла: у нее была привычка по-женски акцентировать многие места с избытком. (Позднее, когда мы стали получать от нее письма, мы обнаружили, что пишет она так же, как говорит. Читать их можно было только с ее интонациями.)

– Сид мне сказал, вы познакомились в *университете*, – говорила она. – И он принес домой журнал “*Стори*” с вашим рассказом. Мы читали его друг другу вслух в постели. *Великолепно!*

Боже мой. Читатели. Ровно то, о чем я мечтал. Обрати, обрати внимание на эту чудесную молодую женщину, она, несомненно, его заслуживает! Ее муж, конечно, тоже. Сид Ланг. Знаю ли я его? С трудом, бормоча что-то фальшиво-скромное его исполненной энтузиазма жене, припоминаю: в очках, в строгом костюме, светловолосый, с высоким негромким голосом, дружелюбный, малопримечательный, неотличимый от десятков других “обитателей леса” ни по оперению, ни по пению, ни по особенностям гнездования. По крайней мере не из заносчивых и явно такой, с каким стоит познакомиться поближе. То, что он тушевался, не выставлялся, по мне, простительно. Может быть, испытывал неуверенность при мне, считая меня писателем, подающим большие надежды.

И что же – это она и есть? Универсальная основа дружбы? Неужели все настолько рефлекторно? Мы лишь тогда делаем встречное движение, когда нас, похоже, находят интересными? Неужели наша дружба с Лангами родилась из простой благодарности этой женщине, проявившей достаточно доброты, чтобы спуститься в подвал к незнакомой молодой

особе, сидящей в нем без дела и без друзей? Неужели я так жаждал похвалы, что расположился к ним обоим, как только услышал, что им понравился мой рассказ? Неужели все мы звеним, жужжим или светимся тогда и только тогда, когда кто-то нажимает на кнопку нашего тщеславия? Был ли кто-нибудь за всю мою жизнь, кто понравился мне без того, чтобы сначала выказать признаки хорошего отношения ко мне? Или же все-таки – надеюсь – Чарити Ланг потому сразу мне понравилась, что была такой, какой была: открытой, дружелюбной, искренней, порой, как вскоре выяснилось, чуточку грубоватой, энергичной, равнодушной, настолько же полной жизни, насколько была полна света ее улыбка?

Обрывки сведений, которые она роняла в разговоре за чаем и тостами с корицей, мой ум рьяно подбирал и прилеплял к стене для позднейшего использования, как бенгальские женщины поступают с влажным коровьим пометом, в просушенном виде идущим на топливо. Она родом из Кеймбриджа⁵. Ее отец – гарвардский профессор, преподает историю религий. Она окончила колледж Смит. С будущим мужем познакомилась, когда он учился в магистратуре в Гарварде, а она, окончив колледж, без особого энтузиазма работала экскурсоводом в музее Фогга⁶.

Более восприимчивое к этим фактам ухо, чем мое, трудно было бы себе представить. Да, некоторые мои коллеги с галстуками-бабочками разочаровали меня – и все равно в 1937 году я был склонен верить, что выпускник Гарварда, освобожденный мощью традиции, к которой принадлежит, и селективными процессами, приобщившими его к ней, от грубости более заурядных мест, венчает собой некую линию человеческой эволюции. Он живьем видел Киттреджа, он был там, где любил и пел Джон Ливингстон Лоуз⁷, он брал книги с волшебных стеллажей Уайденеровской библиотеки, он прогуливался, поглощенный глубокомысленным разговором, вдоль реки Чарльз. Представительниц той же высшей расы творили на свой особый, не вполне, впрочем, равноценный манер некоторые женские колледжи в восточных штатах.

Чарити, окончившая такой колледж, явно принадлежала к этой высшей расе. Родившаяся в Гарварде, она училась в Смит, а спутника жизни нашла опять-таки в Гарварде. Она росла, соприкасаясь с красотой и благородством Кеймбриджа. Она и, предположительно, ее муж воплощали в себе культуру, воспитанность, внимание к другим людям, телесную чистоту, ясность мышления и возвышенный строй ума – все то, что манило замороженных пришельцев вроде меня, западных варваров, благоговеющих перед Римом. Моя симпатия к ней была, несомненно, почти поровну смешана с пиететом, с уважением слишком искренним, чтобы в нем можно было заподозрить элемент зависти.

И она, эта женщина с печатью Гарварда и колледжа Смит, сидела сейчас в нашем подземелье и явно получала удовольствие от тостов с корицей и чая “Липтон”, она и ее гарвардский муж выразили восхищение рассказом Ларри Моргана, только-только приехавшего из Беркли, Калифорния, а до того жившего в Альбукерке, Нью-Мексико.

Дальнейшая информация: у Лангов двое сыновей, младшему, Нику, едва исполнился год, у трехлетнего Барни полное имя – Джордж Барнуэлл в честь отца Чарити. Тон, которым она рассказывала про Барни, был добродушно-ворчливым. Он, должно быть, испытал определенное формирующее воздействие еще до рождения, сказала она. Мальчик был зачат во время экспедиции по Сахаре и растет чуть ли не копией выючного верблюда: тут тебе и упрямство, и недобрый взгляд, и пронзительный голос.

Погодите-погодите, сказали мы. По *Сахаре*? Вы шутите?

⁵ Кеймбридж – город в штате Массачусетс, примыкающий к Бостону. В Кеймбридже находится Гарвардский университет.

⁶ Музей Фогга – художественный музей, расположенный в Гарвардском университете.

⁷ Джордж Лайман Киттредж (1860–1941), Джон Ливингстон Лоуз (1867–1945) – американские литературоведы, профессора английской литературы в Гарвардском университете.

Нет, она не шутила. Когда они решили пожениться, Сид на семестр прервал учебу в магистратуре. Свадьбу сыграли в Париже, в доме ее дяди...

– Ах, – воскликнула Салли, – как это мило – иметь родственников в Париже!

– Теперь их там нет, – сказала Чарити. – Рузвельт его заменил – *сместил*, попросту говоря.

Рузвельт? Откуда сместил? В чем он провинился?

Мне показалось, Чарити покраснела, и в тех обстоятельствах я считал это еще одним проявлением цивилизованной чуткости и скромности, свойственных ей и ей подобным. Она вдруг поняла, как мы должны были воспринять то, что для нее само собой разумелось.

– Ни в чем не провинился. Ни в чем таком, что требовало увольнения. Просто сменилась *администрация*. Он был послом во Франции.

О...

– А потом у нас была эта долгая свадебная поездка, – продолжила Чарити. – Франция, Испания, Италия, Греция, Ближний Восток, Иерусалим, Египет. Мы точно с ума сошли, хотели повидать *все*. Я-то в школе училась во Франции и Швейцарии, но Сид никогда не был за границей, ни разу. Закончили в Северной Африке – в Алжире. Там наняли верблюдов и на три недели отправились в пустыню.

Она проговорила это обыденным тоном, не переводя дыхания, чувствуя, что ее могут счесть хвастливой, и желая сгладить эффект. Но боже мой – дядя-посол, трехмесячная свадебная поездка, экспедиция по Сахаре... Не только не простая семья, но и огромные по нашим временам деньги, невообразимые для нас, обитателей бедного подвала.

– Что все-таки в вашем Барни такого уж верблюжьего? – спросил я, просто чтобы побудить ее продолжить. – У него что, горб? Или расщепленное небо?

– Нет, нет, *ничего* подобного, – почти вскрикнула Чарити, исполненная родительской гордости. – Он красавец у меня. Но *характер*... Верблюжий характер и верблюжьих дюймовые ресницы. – Ее смех, как и все в ней, был ясным и нестесненным. – Вы не обратили внимания, как я в тот день избегала профессора Руссело? Вы же помните, как он выглядит, – эти его печальные опущенные щеки. – Она оттянула пальцами кожу лица вниз. – Я даже взглянуть на него боялась, потому что опять беременна, и у меня было это *жуткое* чувство, что стоит мне только на него посмотреть, и этот новый будет похож на *него*.

– Беременна? – переспросила Салли. – Вы тоже? Когда? Когда у вас срок?

– В марте. И *вы*? А у вас когда?

– Тоже в марте!

Это положило конец потоку сведений о богатой культурной и романтической почве, на которой выросла Чарити Ланг. Они с Салли буквально кинулись друг к другу. Я никогда не видел такого восторга на лицах двух собеседников. Можно было подумать – они близнецы, разлученные в младенчестве и теперь узнавшие друг друга по каким-то приметам.

– У нас будет *соревнование*! – воскликнула Чарити. – Давайте вести *записи* и сравнивать. У кого вы наблюдаетесь?

– У меня пока нет врача. У вас хороший?

Чарити звонко, от души рассмеялась, как будто роды, при мысли о которых Салли и меня порой бросало в холодный пот, – самая большая потеха на свете после игры “гуси-лебеди”.

– Кажется, да, – ответила Чарити. – Я толком его не знаю, честно говоря. Его интересует только моя *утроба*.

Лицо Салли сделалось чуточку испуганным.

– Вот как, – промолвила она. – Хорошо бы моя ему понравилась.

Я изобразил побуждение встать.

– Прошу прощения, – сказал я. – Мне кажется, самым правильным с моей стороны будет густо покраснеть и покинуть комнату.

Ха-ха-ха-ха. Мы наполнили подвал дружным смехом и внезапно открывшейся общностью. Чарити написала фамилию своего врача крупными буквами на большой карточке (в сумочке у нее был достаточный их запас). Защелкнув сумочку, поставила ее себе на колени так, словно собралась вскочить и пойти. Но нет, она еще не уходила. Виноватым голосом воскликнула:

– Ну какая же я! Пришла познакомиться с *вами*, а мы только и делаем, что говорим про нас с Сидом. Я хочу все про вас знать. Вы оба из Калифорнии. Расскажите мне, как там. Что вы там *делали*? Как вы познакомились?

Мы с Салли переглянулись и рассмеялись.

– Не в верблюжьей экспедиции.

– Ну и что, ведь на Западе нисколько не хуже! Все эти необъятные просторы, столько свободы, столько возможностей, ощущение *юности, свежести* всего вокруг. Очень жаль, что я не там выросла, а в душном Кеймбридже.

– Прошу прощения, – сказал я, – но вы не в своем уме. Кафедра английского в Беркли – сильно разжиженный Гарвард.

– Там было бы прекрасно, если бы не безденежье, – сказала Салли. – Но денег и у него не было, и у меня. Да и сейчас нет.

– Вы оба были студентами? Как *все-таки* вы познакомились?

– В библиотеке, – ответила Салли. – Я там подрабатывала – регистрировала выдачу книг аспирантам и студентам магистратуры. Я обратила на него внимание, потому что он сидел там постоянно, каждый день два десятка новых книг брал и столько же старых возвращал. Я подумала, что такой работающий человек чего-нибудь да добьется, ну и вышла за него.

Чарити слушала с неподдельным интересом – с лицом человека, разглядывающего в микроскоп колонию парameций. Реснички, пульсирующие вакуоли – какое чудо! Ее улыбка была неотразима, ты *не мог* не улыбаться в ответ.

– Вас, получается, никто не спрашивал, – сказала она мне.

– Если я и жертва, то по доброй воле, – сказал я. – Я все поглядывал на эту красавицу с большими греческими глазами, которая ходила туда-сюда с формулярами и не давала мне нарушать библиотечные правила. Когда она разорвала уведомление о просрочке, я понял, что это судьба.

– Да, глаза поразительные, – согласилась Чарити и повернулась к Салли. – У Руссело я сразу обратила на них внимание. Вы *гречанка*?

– По матери.

– Расскажите мне о маме. Я хотела бы узнать про *обе* ваши семьи.

Я увидел, что Салли смущена.

– У нас никого нет, – сказала она. – Все умерли.

– *Все?* С обеих сторон?

Сидя на кушетке, Салли коротко пожала плечами и, всплеснув руками, уронила их на колени; в этих жестах было что-то оборонительное.

– Все близкие. Моя мать была певица. Она умерла, когда мне было двенадцать. Меня взяли к себе дядя и тетя с отцовской стороны, американцы. Он умер, а она сейчас в приюте.

– О господи... – Чарити перевела взгляд на меня, потом опять на Салли. – Выходит, у вас не было помощи *ни от кого*. Всего должны были добиваться сами. Как же вы справились?

Если Салли была этими расспросами всего лишь смущена, то меня они начали слегка раздражать. Одно дело интересоваться, другое – допытываться. Я никогда не приветствовал ничьих попыток меня анатомировать. Я неопределенно махнул рукой.

– Ну, способов заработать не так мало. Принимать распределительные экзамены. Проверять работы для профессоров. Помогать какой-нибудь университетской шишке с окладом шесть тысяч писать учебные пособия. Преподавать “английский для балбесов”. Работать в библиотеке за двадцать пять центов в час.

– Но когда же вы учились?

Салли фыркнула.

– Все время!

– И вы тоже так? Зарабатывали на жизнь и получали образование?

– Нет, – сказал я. – Как глупая греческая крестьянка, она привязала себя к плугу. Бросила учебу, чтобы зарабатывать на нас двоих. Как только она родит и выкормит ребенка, я погоню ее по Стейт-стрит записываться в магистратуру.

– Ну, не такая уж это была жертва, – сказала Салли. – Мне далеко было до окончания. К тому же специальность – классическая филология, а кто ее сейчас изучает? Пусть я получила бы степень – все равно не нашла бы работу. Было очевидно, что я должна поддержать Ларри.

Изящная узкая головка Чарити, когда гостья кивала или поворачивала ее, была похожа на цветок на стебельке. Это сравнение встречалось мне в стихах, но я никогда раньше не видел человека, к которому оно подходило бы, и был очарован. Ее улыбка то загоралась, то потухала. Видно было, как ее ум хватается за что-то и отпускает.

– “Недлинные анналы бедняков”⁸, – глуповато процитировал я.

– Знаете, – заявила она, – я *восхищена* вами. Вас, в отличие от некоторых из нас, не свинтили из готовых деталей на конвейере: *фары* сюда, *колеса* сюда. Вы сработали себя сами.

Салли бросила на меня быстрый, застенчивый, горделивый взгляд.

– Я рада, что вы им восхищены, потому что я тоже. Меня поражало, что он сидит в библиотеке день и ночь. Не помню случая, чтобы я пришла и его не было. Вначале думала – ну, этакий зубрила. Но оказалось...

– Салли, я тебя умоляю, – перебил ее я.

Но ей надо было договорить – похвастаться, излить душу или и то и другое вместе. Надо было что-то выдвинуть в противовес парижской свадьбе и путешествию на верблюдах.

– Оба родителя у него погибли, – сказала Салли. Она покраснела, но твердо намеревалась рассказать новой подруге все, как старшеклассница на ночном девичнике. – Сколько тебе тогда было? – спросила она, поглядев на меня и тут же опустив глаза. – Двадцать? Двадцать один? В общем, он учился на последнем курсе в Нью-Мексико.

Не обьятое улыбкой, лицо Чарити все равно было необычайно живым. Без приподнятости, обычной для ее тона, без всякой театральной аффектации она спросила:

– И что вы сделали?

– Ну что я мог сделать? Вынул из духовки запеченное мясо и выключил ее. Похоронил их. Продал дом, мебель и все остальное, кроме машины, и перебрался в общежитие. В каникулы досдал пропущенные экзамены. После бакалавриата сразу поступил в магистратуру в Беркли, потому что университет казался самым безопасным местом на свете.

– Вы ведь что-то выручили за имущество, это вам помогло?

– За имущество? Выручить-то выручил, примерно пять тысяч. Положил в банк, а банк лопнул.

– Вот ведь беда какая, – сказала Чарити. – Они что, куда-то ехали? Автомобильная авария?

⁸ Строчка из “Элегии на сельском кладбище” английского поэта Томаса Грея (1716–1771), пер. С. Черфаса.

Похоже, тут не обошлось без некоего вызова с моей стороны, иначе я просто положил бы ее расспросам конец. Но я решил: если Чарити Ланг хочет знать о нас все – пусть слушает. Пусть увидит, насколько иначе, чем у нее, складываются жизни у людей вокруг. Я сказал:

– У нас в Альбукерке был жилец, однополчанин отца по мировой войне. Он то появлялся, то был в отлучке, побудет несколько недель, потом месяц, два, три его нет. У него был старый биплан “Стандард”, чиненый, проволокой скрученный, он на нем летал туда-сюда по сельским ярмаркам, брал на борт трюкачей, вылезавших на крыло, и парашютистов. В общем, гастролер. Он позволял мне надевать в школу свои английские офицерские сапоги, а когда не было ярмарок, иногда поднимал с собой в воздух меня и мою девушку. В старших классах все мне завидовали. А потом этот мой закадычный друг взял и осиротил меня. В годовщину свадьбы родителей предложил им полетать над горами Сандия, да и врезался в склон. А я был дома – занимался и поглядывал, как запекается мясо для праздничного ужина.

В неярком свете нашего жилища Чарити сидела неподвижно, держа руки на сумочке, стоявшей у нее на коленях. Голова была наклонена, и на лице появилась полуулыбка, словно она собиралась сказать что-то утешающее или забавное. Но она сказала только – и опять без неуместной сейчас приподнятости:

– Это ужасно. Оба... Вы их очень любили? Чем зарабатывал на жизнь ваш отец?

– Ремонтом автомобилей, – ответил я.

На этом с семейными историями было покончено. Как и с оживленной беседой ранним вечером. Судя по всему, я расправился с ее любопытством. Всего через пару минут она повернула свои часы к свету и воскликнула, что ей пора, иначе Барни *съест* няню с потрохами или задушит Никки. Но самое главное: не придем ли мы к ним в пятницу ужинать? Ей и мужу хочется узнать нас *хорошенько*, и как можно скорее. Им бы не хотелось лишаться нашего общества *ни на минуту* дольше необходимого. Какая *удача*, что этот, забыла имя, Джесперсон отправился в Вашингтон работать у Гарольда Икеса⁹ и что меня взяли на его место! Он был такая, извините, задница. Получится у нас в пятницу? Будут всего две-три пары, молодые преподаватели, с которыми мы, вероятно, уже знакомы, и ее мать, она приехала в гости из Кеймбриджа. *Пожалуйста*, приходите!

Мне пришло в голову, а если мне, значит, это еще раньше пришло в голову Салли, что у нас унизительно скудная жизнь по части встреч и общения. Быстрого обмена взглядами хватило, чтобы понять: гордости у нас не больше, чем запланированных визитов. Итак, пятница.

Провожая Чарити, мы поднялись с ней на три ступени из нашего полуподвала и обошли дом к ее машине, припаркованной на улице. Это не была роскошная машина – “шевроле”-универсал примерно такого же возраста и в таком же состоянии, как наш “форд”, – и ей не повредило бы мытье. На заднем сиденье комом лежала одежда, явно предназначенная в чистку.

– Я чувствую, мы очень близко подружимся! – воскликнула Чарити; обняв Салли и крепко пожав мне руку, она села в машину и одарила нас своей улыбкой. – *Начинайте вести записи!* – сказала она Салли, у которой вопросы Чарити не оставили ни малейшего неприятного осадка. Любопытство гостьи ей, в отличие от меня, не досаждало – наоборот, моя жена сама его разжигала. Волоокая, со лбом Деметры, она выплеснула нас, словно творя жертвенное возлияние, на алтарь Пытливости.

Мы постояли и помахали Чарити, удалявшейся в машине в сторону capitoлия, чей купол возвышался над деревьями. Что ж, хорошо. Я признавал, и признавал с охотой: очаровательная женщина! Она просто не могла нам не понравиться с первого же взгляда. Она ускорила наш пульс, подняла наш дух, заставила посмотреть на Мадисон другими глазами,

⁹ Гарольд Икес (1874–1952) – американский политический деятель, министр внутренних дел с 1933 по 1946 год.

привнесла жизнь, предвкушение, волнение в начавшийся год, который мы готовились перенести стоически. Последним впечатлением от нее, когда она поворачивала за угол, стала эта улыбка, брошенная нам на прощание, как букет цветов.

4

В пятницу вечером, точно в назначенное время – признак нашего стеснения, – мы пока- тили по Ван-Хайз-стрит под большими вязами. Красный небосклон на западе еще не померк, и света было достаточно, чтобы различать номера домов, написанные краской на бордюре. Проехав чуть дальше нужного, мы остановились и оглядели дом.

Мне, склонному все сверять с университетской табелью о рангах, дом показался чем- то вроде профессора на пожизненной должности: обширная передняя лужайка с кленами, пухлый слой неубранных листьев на траве и в канаве, вереница освещенных окон, похо- жая на ночной поезд. Фонарь над дверью выхватывал из сумерек две кирпичные ступеньки, вымощенную плитами дорожку и густолиственную сирень живой изгороди.

– Дом чем-то похож на Чарити, – заметила Салли. – Не бедный и притом открытый. Приглашающий. Без флангов.

– Сплошной фасад.

– Но не из тех, перед какими робеешь. Без чугунных оленей. Без табличек “По газону не ходить”.

– А ты этого ожидала?

– Я не знала, чего ожидать. – Она пожала плечами под вышитым золотом китайским халатом с драконами – почти единственным, что осталось ей в память об оперной карьере матери, – и издала легкий смешок. – Она так мне понравилась, что мне очень любопытно, каков *он* из себя.

– Я тебе говорил. Похож на дружелюбного штатного детектива.

– Не могу представить себе, что она замужем за штатным детективом. О чем мне с ним говорить? Что его интересует?

– “Королева фей” Спенсера? – предположил я. – Или, может быть, “Маргиналии” Габ- риэла Харви¹⁰?

Это ее не позабавило. Она определенно нервничала. Глядя на освещенный дом с таким видом, будто решалась на кражу со взломом, она сказала:

– И ее мать вдобавок ко всему. Ты слышал, что она одна из основательниц школы Шейди-Хилл¹¹?

– Что это за школа такая?

– Да брось, ты знаешь.

– Нет.

– Все знают школу Шейди-Хилл.

– Кроме меня.

– А должен бы. – Я ждал, но она не просветила меня. После паузы проговорила: – Чарити рассказала мне про свою мать. Судя по всему, впечатляющая дама. Ожидает, чего доброго, что я буду вести беседу по-французски.

– Веди ее по-гречески. Посрами важную даму. За кого она себя принимает?

– Зря я не спросила, как люди будут одеты, – беспокойно сказала она. – Вдруг все будут в длинных платьях, а я сниму этот халат и останусь в своем коротком, два года назад купленном? Халат слишком шикарный, а платье слишком скромное.

– Послушай, – сказал я, – это же не прием у посла, ее дяди. В крайнем случае, если что-то с нами не так, они могут просто отправить нас домой.

¹⁰ Эдмунд Спенсер (ок. 1552–1599) – английский поэт, автор аллегорической поэмы “Королева фей”. Габриэл Харви (ок. 1550–1631) – английский поэт.

¹¹ Шейди-Хилл – частная школа в Кеймбридже, Массачусетс.

Когда я начал открывать дверь машины, она воскликнула:

– Нет! Лучше нам не приходиться первыми. И лучше не сидеть тут, когда другие будут приезжать. Давай объедем вокруг квартала.

Я медленно объехал вокруг квартала, и, когда мы вернулись, у дома стояли две машины. Гости, выходя из них, собирались под уличным фонарем, где слышно было, как козодои с особым “ревушим” звуком охотятся на насекомых, и от земли шел особый октябрьский запах преюющих листьев – непередаваемый запах осени, футбольной погоды и нового семестра, один и тот же почти по всей Америке.

Троих мужчин я уже знал: Дэйв Стоун был родом из Техаса, прошел через Гарвард, лицом напоминал Рональда Колмана¹², разговаривал негромко и казался мне одним из тех преподавателей помоложе, с кем можно дружить; Эд Эббот, тоже вполне приятный человек из университета Джорджии, преподавал у нас на временной основе, дописывая диссертацию; и наконец, Марвин Эрлих – этот был из йельских: мешковатый твидовый пиджак и высоко подтянутые брюки с короткими штанинами. День или два назад, набивая трубку и засыпая мой стол табачными крошками, он сообщил мне, что учился в Йеле у Чонси Б. Тинкера¹³ (Тинка), а затем изучал в Принстоне греческий под руководством Пола Элмера Мора¹⁴. Он поинтересовался, как я получил должность – кого знаю из кафедральной верхушки, кто замолвил за меня слово, – и явно хотел понять, насколько я буду ему опасен как претендент на повышение. Я отреагировал на него как на сорняк-аллерген и не слишком обрадовался, увидев его сейчас.

Из жен я, в отличие от Салли, не помнил ни одну, а они сказали, что видели нас у Руссело. Либ Стоун была тоненькая техасская красавица и хохотушка, Элис Эббот – веснушчатая молодая уроженка Теннесси с белесыми ресницами. Ванда Эрлих привлекала взгляд главным образом своими пышными формами: ей было так тесно в одежде, что глаза у нее лезли из орбит.

Стоуны и Эбботы очень тепло пожали нам руки. Эрлих, вынув изо рта свою проклятую трубку, вздернул голову – так он с нами поздоровался. Его жена (реконструирую это много лет спустя без всякого милосердия, даром что само Милосердие пригласило нас тогда в гости¹⁵) одарила нас улыбкой, которую я счел удивительно плоской на таком пухлом лице. Меня поразила тогда – и сейчас поражает снова – мгновенность, с которой может проявиться взаимная неприязнь. Или это просто была моя реакция на их безразличие? Они, судя по всему, ценят меня низко – поэтому черт с ними.

По крайней мере Салли могла не волноваться. Все платья недлинные, а то, что надето сверху, во много раз скромней, чем ее халат с драконами.

Эд Эббот был шаловлив и настроен хорошо повеселиться. Идя по дорожке к дому, он распугивал козодоев боевым кличем армии южан и шуганул бродячего кота. В два прыжка тот исчез под кустами сирени, провожаемый криком Эда: *Беги, жалкая тварь!* У Ванды Эрлих вырвался смешок, похожий на икоту, самопроизвольный и словно бы недоверчивый.

– Хулиган какой, – сказала Эду жена. – Всех соседей переполошишь.

Кто смеялся, кто улыбаясь, кто преисполняясь чувством превосходства, мы подошли к двери. Оказавшись ближе всех к кнопке звонка, я нажал на нее.

Ничто так резко не преобразует потенциальную энергию в кинетическую, как дверной звонок. Когда, стоя за дверью, нажимаешь кнопку, что-то должно произойти. Кто-то должен отреагировать; то, что внутри, должно обнаружить себя. На вопросы будут даны

¹² Рональд Колман (1891–1958) – английский актер театра и кино.

¹³ Чонси Брюстер Тинкер (1876–1963) – американский филолог.

¹⁴ Пол Элмер Мор (1864–1937) – американский журналист, критик, эссеист и педагог.

¹⁵ Чарити (*charity*) переводится с английского как “милосердие, христианская любовь”.

ответы, неясности или тайны рассеются. Ситуация начнет развиваться, проходя через неизвестные заранее осложнения, впереди – непредсказуемый финал. Ответом на звонок могут стать торопливые шаги и глаза, полные слез, может – подозрительный взгляд через щелку, может – выстрел сквозь дверь; мало ли что. Всякое нажатие на кнопку у входа так же богато драматическими возможностями, как эпизод у Чехова, когда у земского доктора умер от дифтерита единственный сын. Мать опускается на колени перед кроваткой ребенка, сам доктор, пропахший карболкой, стоит рядом, и тут в передней резко звучит звонок.

Наш нынешний звонок, вероятно, тоже прозвучал в передней. Но никакого потрясенного измученного врача мы не увидели. Дверь нам открыли рывком, за ней – ярко освещенное помещение, а в проеме... кто? Тесей и Ариадна? Троил и Крессида? Руслан и Людмила?

О господи. Я сказал: “штатный детектив”? Упомянул нудную “Королеву фей” Спенсера?

Бок о бок, одетые для приема гостей, громогласно со всеми здороваясь, ослепляя нас, стоящих на сумрачном крыльце, своими улыбками, за порогом красовались двое, являющие собой полную противоположность академической серости, экономической депрессии и скудному быту, который был нашим уделом большую часть сознательной жизни. На наш изумленный взгляд, это была великолепнейшая пара из всех, что когда-либо освещало электричество.

К тому, как выглядела и встретила нас Чарити, я был более или менее готов. Красивая узкая голова, стянутые сзади волосы, живое лицо; обращаясь ко всем восьмерым, она при этом тепло и волнующе обращалась к каждому по отдельности. На ней были белая сборчатая блузка и длинная юбка, сшитая, казалось, из покрывала или скатерти с восточным орнаментом. Ее беременность еще не была видна. К февралю она будет похожа на миссисипский буксир, толкающий сплотку из пятнадцати барж, но сейчас, стоя в дверях, здороваясь с нами во весь голос, она была просто-напросто высокой, красивой, экзотичной и полной жизни женщиной.

Но Сидни Ланг – он затмил даже ее. На нем была вышитая рубашка – я подумал, греческая, албанская или югославская, но могла быть и мексиканская, гватемальская, североафриканская, а то и с Кавказа. Притом одежда была наименее важной частью его метаморфозы. Что-то его изменило, укрупнило. Случись это в нынешние годы, у меня возникла бы ассоциация с Кларком – как его там дальше? – избавляющимся от очков и делового костюма и предстающим в плаще Супермена.

Этот преподаватель английского, стоя подле красавицы жены в своей рубашке не то с Балкан, не то откуда-то еще и стискивая до хруста ладони гостей, был исполином, изваянным Микеланджело из каррарского мрамора. В университете, одетый в серый костюм, он выглядел человеком самое большее среднего роста – может быть, потому, что наклонялся к любому собеседнику, внимательно слушая, не желая упустить ни слова, а может быть, из-за скромного вида его аккуратно причесанных светлых волос. Накануне он шел рядом со мной на занятия чуть ли не вприпрыжку, чтобы не отстать, и, слегка нагнувшись ко мне, чутко внимал всему, что слетало с моих губ; я был польщен и в то же время чувствовал свое превосходство. Ныне же, приглашая нас войти, рокочущим голосом заверяя гостей, что рад видеть их у себя, предлагая снять и отдать ему верхнюю одежду, он был настоящим джином. Он расхаживал среди деревьев, возвышаясь над их кронами.

Хозяева требовали у всех для пожатия обе руки, и Чарити передавала их Сиду.

– Ой, Салли Морган, до чего же вы *обворожительны!* – воскликнула Чарити, передавая мужу ладони Салли. – Вы словно сошли со свитка династии Мин! – И тут же Ванде Эрлих, которая была следующей: – Ванда! Как я *рада* вас видеть! Входите, *входите!*

Я увидел, что Ванда отметила разницу между тем, как Чарити приветствовала Салли и как ее. Я увидел, как горячо Сид жмет руки Салли: она даже чуть отступила перед таким

напором. У него были массивные запястья, густо поросшие светлым пушком. Золотистый пушок виднелся и поверх ворота его расшитой рубашки. Сейчас, когда на нем не было очков в стальной оправе, его глаза оказались невероятно голубыми; обладатель квадратного лица, он не уступал Чарити в белизне зубов. Это был не только самый крепкий здоровяк из всех преподавателей английского, каких я знал, но и самый обаятельный из них. Включившись на полную мощность, он был неотразим. На его лицо, что бы оно ни выражало, было приятно смотреть, и своей рьяной старомодной галантностью он покорила Салли. Высоко подняв ее руки, он побудил ее сделать пируэт – получилась прямо-таки фигура из кадрили.

– Истинная правда: вы обворожительны, – подтвердил он слова жены. – Неопишуемая красота! Чарити мне говорила, но она преуменьшила ваши достоинства.

Салли принялась высвобождаться из китайского халата, но он остановил ее:

– Погодите. Не снимайте. Я хочу вас показать тете Эмили.

Предоставив остальным справляться самостоятельно, он приобнял ее за плечи и повел в гостиную. Слегка напоминая пленницу, которую гонят в пещеру, она бросила на меня взгляд, где читались изумление, веселье и насмешка над моими описательными способностями.

Потянувшись за ними в гостиную, мы были там представлены тете Эмили – матери Чарити. Даже она называла ее тетей Эмили. Это была дама со сверлящим взглядом карих глаз и мрачноватой улыбкой директрисы, которая видела все мыслимые проделки детей, но по-прежнему их любит – ну, по крайней мере заверяет всех, что любит.

– А! – сказала она, когда настала моя очередь. – Вы – тот самый литературно одаренный человек. А жена какая красавица! Чарити и Сид говорили мне, как много приобрела благодаря вам кафедра английского.

– Приобрела? – переспросил я. – Да ведь мы только приехали.

– Вы явно произвели впечатление. Надеюсь, мы сможем поговорить, хотя, судя по тому, как начинается эта костюмированная вечеринка, я могу вас больше и не увидеть.

Она мне понравилась (польстила же!).

– Я к вашим услугам, – сказал я. – Вам достаточно будет сделать веером манящий знак.

– Раздобуду веер и затаюсь в ожидании. Говорят, вы как писатель подаете огромные надежды.

Кто бы мог устоять? Предстоящий вечер подавал еще большие надежды, чем я. Перспектива хорошего ужина сама по себе могла воодушевить меня в те дни, а тут было многое сверх того: свет, блеск, разговоры, улыбки, принарядившиеся люди, друзья, читатели. Девушка, которая подошла по мягкому ковру, неся миниатюрные бутерброды, оказалась моей студенткой-первокурсницей. Мне было приятно, что она увидела меня в этой обстановке. Книжки повсюду. На стенах висели не репродукции Ван Гога или Гогена, а подлинные холсты Гранта Вуда и Джона Стюарта Карри¹⁶. Я воспринял их как свидетельство энтузиазма, с которым Ланги, уроженцы Новой Англии, окунулись в жизнь Среднего Запада, отдав (предположил я) предпочтение здешним сельским пейзажам перед работами Уинслоу Хомера¹⁷.

Мало того. Не забудем, что стоял 1937 год, после отмены сухого закона прошло всего четыре года, и мы были глубоко погружены в Великую Депрессию, которая нынешней молодежи представляется некими баснословными временами. Всего месяц назад в Ла-Хойе¹⁸ наш внук, крутя в поисках “Иглз” или Джеймса Тейлора ручки своего стерео за пятьсот долла-

¹⁶ Грант Вуд (1891–1942), Джон Стюарт Карри (1897–1946) – американские художники.

¹⁷ Уинслоу Хомер (1836–1910) – американский художник, уроженец Бостона, наиболее известен своими морскими пейзажами.

¹⁸ Ла-Хойя – район Сан-Диего, Калифорния.

ров, прервал поток моих воспоминаний: “Ну конечно, дед, расскажи еще, как вы с бабушкой неделю копили на две порции пятицентового мороженого”. Его иронические слова, произнесенные в 1972 году, недалеки от того, чтобы отражать нашу с Салли действительность 1937 года, но для него они как были с самого начала шуткой, так всегда ею и останутся. Пятицентовое мороженое... смех один. Нормальный рожок стоит шестьдесят или восемьдесят центов, а трехслойный и вовсе доллар с четвертью. А копить... как это вообще?

Что верно в отношении мороженого, втрое верно в отношении алкоголя. Сухой закон, что ни говори, нанес-таки удар по нашему питью. В Альбукерке до 1933 года мы на студенческих вечеринках потребляли домашнее вино или самодельную дрожжевую брагу – порой с добавлением спирта или эфира, если в компании был студент-медик. Преподаватели, если у них заранее были сделаны запасы или имелись источники нелегальных поставок, с учащимися не делились. В Беркли, уже после отмены закона, преподавательские вечеринки расцвели бутылками хереса, произведенного в спешке и созревшего в грузовиках по дороге из Кукамонги. У студентов же в ход пошли калифорнийская граппа и пунш, который мы, экспериментируя, готовили в большой миске из фруктового сока, газировки и того алкогольного, что было в наличии: джина, рома, спирта, граппы или всего этого вместе. Размешав, мы окрашивали напиток в розовый цвет искусственным гранатовым сиропом под названием “Ням”.

Ням.

А сейчас у стены гостиной позади тети Эмили я увидел стол, отягощенный напитками: “Хейг энд Хейг”, “Саннибрук фарм”, “Дафф Гордон”, сладкое и сухое чинзано, красное и белое дюбонне, голландский джин, бакарди. Ради этого стола какой-то винный магазин в Мадисоне (я пока что не заходил ни в один) был, судя по всему, опустошен – и при этом сами Ланги выпили за весь вечер только немного дюбонне, а тетя Эмили вообще ничего не пила.

Эд Эббот, подошедший вместе со мной оглядеть эти богатства, был так потрясен, что у него дрогнули колени. Наморщив лоб, он нагнулся к бутылкам и принялся читать про себя наклейки. Его губы шевелились.

– Боже мой... – пробормотал он. – Боже мой... – Затем громко: – Когда начнется возлияние? Не пора ли каждому выбрать жертвенный напиток? Самое время! *Пожалуйста!*

Сид выступил вперед, зашел за стол и попросил делать заказы. Мужчины обратились с вопросами к дамам. Одна из них – Ванда Эрлих – подала голос. “Я хочу манхэттен”, – сказала она без “пожалуйста”.

То была эпоха серебряных шейкеров. То, как обращался с ними в кино Роберт Монтгомери¹⁹, произвело впечатление на каждого из нас. Сид взялся за свой, снял с него крышку, насыпал лед. После этого его рука, двинувшись над густо уставленным столом, ухватила бутылку со сладким чинзано, затем воспарила еще раз и опустилась на виски “Хейг энд Хейг”. Тут мы с Эдом закричали в один голос, и его рука замерла.

– Что не так? Виски, сладкий вермут, ангостура. Ну, не знаю... Я человек покладистый, готов уступить свое место лучшим. Любой из вас – прошу.

Барменом, опередив меня на четыре сотые секунды, стал Эд Эббот, а Сид и я отошли и присоединились к компании.

Мне доводилось слышать о том, как травмирующее или необычайное событие – смерть, развод, выигрыш в лотерею, проваленный экзамен – меняло чью-то жизнь. Но я ни разу не слышал, чтобы человеческую жизнь изменил, как нашу, званый ужин.

Сироты из западных краев, мы прибрели в Мадисон, и Ланги приняли нас в свое многочисленное, богатое, влиятельное, надежное племя. Пара астероидов, мы случайно влетели

¹⁹ Роберт Монтгомери (1904–1981) – американский актер, режиссер и продюсер.

в их упорядоченную ньютоновскую вселенную, и они притянули нас своей гравитационной силой, превратили нас в луны, вращающиеся вокруг них по орбите.

Неустроенные больше всего грезят об устройстве, неприкаянные – о пристанище. В Беркли, пытаясь превозмочь беду чтением, я наткнулся в библиотеке на Генри Адамса²⁰. “Хаос – закон природы, порядок – мечта человека”, – сообщил он мне. Нигде до той поры я не встречал такой точной характеристики своей жизни, а когда прочел это место Салли, она восприняла его так же. Из-за своей ненадежной профессии и раннего развода мать таскала ее туда-сюда и часто передоверяла другим людям, а после ее безвременной смерти девочку взяли на воспитание и без того обремененные заботами родственники. Я потерял точку опоры, у Салли никогда ее и не было. Мы оба были необычайно отзывчивы к дружбе. Когда Ланги открыли перед нами свой дом и сердца, мы не преминули благодарно войти.

Войти? Нет, мы бросились внутрь. Мы были в нужде, мы мало на что рассчитывали, и дружба их стала для нас тем же, чем становится для продрогших путешественников сухое помещение с горящим камином. Мы, можно сказать, *впихнулись*, с наслаждением потирая руки, и с той поры сделались иными. Лучше стали думать и о себе, и о мире.

По своим составляющим этот ужин мало чем отличался от сотен других, какие у нас были впоследствии. Мы пили – пили немало и неосмотрительно, потому что не имели опыта. Мы ели, и ели вкусно, но что именно – кому это помнится? Котлеты по-киевски, сальтим-бокка, телячий эскалоп – что бы это ни было, это были произведения цивилизованной кухни, столь же далекие от нашей повседневной пищи, как манна небесная от печеной картошки. Плюс элегантно накрытый стол: цветы, хрупкие бокалы, столовое серебро, приятно отягцавшее руку. Но сердцевиной всего были двое, которые ради того, видимо, этот прием и устроили, чтобы показать, как они рады Салли и мне.

Салли, выделив ее из всех женщин, посадили по правую руку от Сиды, и он был к ней чрезвычайно внимателен. Поверх других разговоров я услышал, как он рассказывает ей романтическую историю об их медовом месяце, о том, как в Дельфах мужчина, с которым они познакомились на судне, плывшем в Итею, упал со скалы и тело нашли только через три дня. Салли слегка опьянела. На ее губах играла улыбка, взгляд был прикован к его лицу, улавливая сигналы, побуждавшие ее к изумлению, сочувствию, смеху. Что до меня, я царствовал между Чарити и ее матерью. Они задавали мне множество вопросов о Калифорнии – от Йосемитского парка до беженцев, спасавшихся от пыльных бурь, – а мои ответы не только они, но и другие, сидевшие поблизости, особенно Элис и Либ, слушали так, будто я вещал из священной пещеры. Как приятно быть избранным, как льстят самолюбию эти взгляды блестящих глаз, направленные на тебя, отделяющего, подобно Творцу, свет от тьмы!

После ужина – кофе и коньяк в гостиной. В то время как моя проникнутая благоговением ученица подавала кофе, а Сид обходил всех с рюмками и бутылкой, Чарити поставила пластинку.

– *Так!* – воскликнула она, садясь на кушетку. – Теперь мы несколько минут сидим, перевариваем пищу и *слушаем!*

Но Марвин Эрлих принес сюда из-за стола неоконченный спор о гражданской войне в Испании с Эдом, занимавшим нейтральную позицию. А я, расположившись на диване подле матери Чарити, счел своим долгом джентльмена занимать ее беседой.

Ставя на столик чашку кофе, которую взял с подноса для тети Эмили, я услышал слова Марвина:

– ...и что же, поддержим фашистов? Тут либо одно, либо другое, третьего не дано. Хотите быть с Франко, Муссолини и Гитлером? А почему не встать на сторону масс?

²⁰ Генри Брукс Адамс (1838–1918) – американский историк.

– Масс? – переспросил Эд. – Каких еще масс? Американцы не знают такого понятия. Это европейская категория, сыр, который не выносит транспортировки.

– Да ладно вам. Средний класс – тоже массы.

Протестующие возгласы Эда.

С тетей Эмили я под звуки кларнетов и струнных повел было светский разговор:

– Что есть такое в Моцарте, благодаря чему он звучит так радостно? Просто темп – или еще что-нибудь? Как он добивается, чтобы звук, всего-навсего звук, выражал радость?

– *Тс-с-с-с-с!* – произнесла Чарити, обращаясь и к Марвину Эрлиху, и ко мне, и, когда мы покорно предалися пищеварению и услаждению слуха, она исцелила наши ушибленные чувства самой милосердной из улыбок.

Не знаю, что сейчас представляют собой кафедры английского: университетский мир я покинул давным-давно. Но я знаю, как они выглядели раньше. Выглядели первоклассно. Выглядели безмятежными ламаистскими монастырями высоко в горах, где избранные живут и комфортабельно, и возвышенно, и красиво. Мужики столь же ученые и благонравные, как чосеровский клерк из Оксфорда, пребывают там в окружении книг и идей, хорошо едят и пьют, мягко спят, пользуются трехмесячными летними каникулами, в течение которых им надо только культивировать свои интеллектуальные склонности и возделывать свои “поля”. Свободные от забот благодаря пожизненному найму, гарантированному окладу, скромным запросам, унаследованному достатку или всему этому вместе, они, как виделось, не были затронуты возней и борьбой за существование, которая шла снаружи, за стенами, и на тех нижних уровнях, где трудились и питали надежды мы, соискатели постоянных университетских должностей.

Мы знали, что этот взгляд верен лишь отчасти. Некоторые из тех, кто стоял выше нас, и правда были людьми умными, знающими и бескорыстными, людьми доброй воли, но иные представляли собой дутые величины, иные были и вовсе некомпетентны, иные, робкие душой, ценили кафедру как тихое местечко, иные делали карьеру, иные, подобно кое-кому из нас, на что-то горько обижались и кому-то завидовали, считая, что их несправедливо обошли. Но, так или иначе, они там были – на высотах, где светило солнце и куда не доходил дым, – твидовая элита со стильными заплатами на локтях, которую мы, может быть, и предполагали, войдя в нее, улучшить собой, но которую никогда не ставили под сомнение. Особенно в годы Депрессии, когда всякая лягушка в пруду мечтала отыскать свой плавающий лист.

Еще в начале нашего пребывания в Мадисоне профессор Руссело, восхищавший своих молодых подчиненных элегантным каменным домом, белоснежными носовыми платками, обыкновением отрезать от буженины или индейки бритвенно-тонкие кусочки, запоминающимися словечками и афоризмами, цитатами на все случаи и летними штудиями в библиотеке Британского музея, дал мне понять, как устроена жизнь. Мы разговаривали о таком же, как я, преподавателе низшего разряда, у которого была больна жена. “Бедный мистер Хаглер, – сказал профессор Руссело. – Он живет только на зарплату”.

Да, профессор Руссело, разумеется. Многим из нас это очень даже близко. Бедный мистер Морган – он тоже живет только на зарплату и к тому же родом из захолустья. Есть еще несколько таких же, как бедный мистер Хаглер и бедный мистер Морган. Бедный мистер Эрлих, к примеру. Он живет только на зарплату и родом из ненавистного ему Бруклина. Он очень старается – куда усердней, чем бедный мистер Морган, которому стоило бы, будучи варваром, чуть меньше задаваться. Бедный мистер Эрлих приложил усилия к тому, чтобы извлечь пользу из уроков, преподанных ему Тинком и Полом Элмером Мором. Он набивает свою данхилловскую трубку правильным табаком, он работает над своим “профилем”, он носит правильные брюки и пиджаки из фланели и твида, он может рекомендовать правиль-

ный херес с ореховым привкусом. И все же он выдает себя, точно русский агент, который ест джем ложкой.

Ни один из нас, возможно, в клуб привилегированных не попадет, но у бедного мистера Эрлиха даже меньше шансов, чем у бедного мистера Моргана, ибо у мистера Моргана, хоть он и задается чуть больше, чем следовало бы, нет внутренних препятствий к продвижению вверх, в то время как мистер Эрлих помешан на развенчании той самой демо-плутократии, которой ему хочется подражать. Он козыряет перед тобой своим йельско-принстонским послужным списком и вместе с тем агитирует тебя за вступление в Лигу молодых коммунистов. На взгляд мистера Моргана, он застрял, не в силах сделать выбор, посередине между Британским музеем и Красной площадью.

Я не потому остановился сейчас на Марвине Эрлихе, что он всерьез что-либо для меня значит или значил, а потому, что в тот вечер своей неспособностью осуществить на молодежном уровне то, к чему мы все стремились, он помог мне острее ощутить, что я введен в круг, радушно принят. Может быть, во всех нас таился некий рудимент антисемитизма – хотя нет, не думаю. По-моему, мы просто чувствовали, что Эрлихи не позволяют себе сполна влиться в компанию.

Марвин так и не преодолел обиду на Чарити, заставившую его умолкнуть. А когда она после музыки встала посреди комнаты, свистнула в полицейский свисток и велела нам приготовиться к кадрили, Эрлихи заявили, что не умеют, и отказались учиться. Дэйв Стоун, чтобы их увлечь, сыграл настоящую сельскую кадрили на пианино, Чарити убеждала их, что это очень легко, Сид будет давать команду только на самые простые движения. Мы образовали квадрат и стали ждать Эрлихов. Бесполезно. Поскольку Дэйв должен был сидеть за пианино, одного человека не хватало. Через некоторое время мы вернули на место ковер, и Сид раздал всем песенники.

Только что купленные, сказал мне мой ум. Десять штук. Я взглянул на цену на супер-обложке. Семь пятьдесят. Семьдесят пять долларов за сборники песен всего на один вечер.

Петь Эрлихи тоже не стали. Сидели с открытым сборником и беззвучно шевелили губами. Может быть, не имели слуха, может быть, выросли на других песнях – не знаю. Но в их глазах стояли обида и упрек.

То, что мы пели, безусловно, не могло вызвать у них презрения. Никакого тебе “Дома на равнине” или чего-либо подобного, никаких пошлых баллад, ничего, что помнилось со времен бойскаутских костров. Нет-нет. Мы пели то, что одобрил бы сам Тинк: “*Ein feste Burg*” Мартина Лютера, “*Jesu, Joy of Man’s Desiring*” Баха, “*Down by the Salley Gardens*” Уильяма Батлера Йейтса. Компания подобралась цивилизованная. Все, кроме Эрлихов, могли подстроиться в лад. И надо же: Сид, оказалось, был тенором в хоровом клубе, Салли Морган унаследовала от матери настоящее насыщенное контральто, Ларри Морган имел опыт пения квартетом, а Дэйв Стоун великолепно играл на фортепиано. Мы закатывали глаза и выдавали длинные полнотонные аккорды.

– Ну какие же вы молодцы! – воскликнула тетя Эмили и захлопала в ладоши. – Просто профессионалы!

Мы заплодировали сами себе. На фортепианной табуретке Дэйв церемонно поклонился и ударил рукой об руку. Мы были донельзя довольны собой и новообретенной общностью. А невозможные Эрлихи сидели и сидели, улыбались и улыбались с открытым без всякой пользы сборником и сомкнутыми губами, ненавидя то, что вызывало их зависть.

В какой-то момент Чарити увидела их состояние и переглянулась через комнату с Сидом; тот встал и поинтересовался, не хотят ли гости промочить горло. Кое-кто из нас ответил утвердительно, и когда мы стояли с рюмками в руках, готовые к дальнейшему хоровому

пению или чему-то другому, что было в планах у Чарити, Сид взял со стола томик стихов Хаусмана²¹, открыл и произнес своим приятным, проворно льющимся голосом:

– Вот, послушайте, я хотел бы узнать ваше мнение. Послушайте.

– *Тс-с-с-с-с!* – сказала Чарити. – У Сиды есть вопрос к вам, ценителям поэзии.

Мы умолкли. Сид встал у пианино, откашлялся, дождался полной тишины и серьезно, прочувствованно прочел стихотворение. Я еще не знал, что это одна из его ролей: пускать разговор по интеллектуальному руслу.

пасхальный гимн

Ты, что в саду сирийском спишь безгласно,
Не ведая, что умер Ты напрасно,
И в страшном сне увидеть бы не мог
Ту ненависть, которую разжег,
Своей кончиной сжечь ее желая.
Так спи спокойно, зорь земных не зная!

Но если, с гроба откатив плиту,
Ты в горнюю вознесся высоту
И памятуешь в доле величавой
Страдания Свои, Свой пот кровавый,
Свои многострадальные пути,
Взгляни на нас, спаси и защити²²!

Мы ждали, одни стоя, другие сидя.

– В чем вопрос? – спросил Дэйв Стоун.

– Вас это стихотворение удовлетворяет? Это хороший Хаусман?

– Удовлетворяет в каком смысле? Да, это хороший Хаусман, конечно. Мне нравится. В Мадриде и Барселоне это следовало бы читать каждое утро.

– Ларри, а вас удовлетворяет?

– Несомненно. Я тоже так думаю обо всей этой разоженной ненависти. Но я не знал, что Хаусмана тянуло к христианству.

– Вот именно! – воскликнул Сид. – Именно! Не кажется ли это вам странным у него – эта мольба о спасении? Не ощущается его обычного стоицизма. Тот ли это Хаусман, который сказал: “Будь мужчиной, встань и кончи, коль душа в тебе больна”? Закрадывается сомнение – так ли он написал? Он этого не публиковал, стихотворение нашел его брат у него в бумагах. Знаете, что я думаю? Я думаю, Лоуренс Хаусман поменял местами строфы, отдал их в печать в противоположном порядке. Мне кажется, более по-хаусмановски было бы наоборот – закончить словами: “Так спи спокойно, зорь земных не зная”. Как вы считаете?

Как переключение это было очень даже неплохо. Мы все были изрядно под хмельком, и все были из тех, кому чтение стихов вслух – посиделки-читалки, так мы это называли, – не представляется чем-то странным или немужественным. Завязалось живое обсуждение. Ради обоснований мы обратились к другим томикам Хаусмана, а от них перешли к томикам других поэтов. Вскоре мы уже всю рылись на плотно набитых книжных полках, желая

²¹ Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936) – английский поэт.

²² Перевод Г. Бена.

найти и прочесть что-то любимое. И тут-то, всего несколько минут спустя, Эрлихи получили от меня и Салли, но главным образом от Салли, окончательный удар.

Оглядывая полки в поисках того, что подтверждало бы некую мысль, я обнаружил “Одиссею” на греческом. Я пришел в изумление. Зачем Сиду, который наверняка не знает греческого, понадобился Гомер в подлиннике? Ради эффекта? Для того же, для чего Эрлиху понадобилась его трубка? Или для ощущения полноты, для того чтобы иметь под рукой всю мировую поэзию? Чтобы в доме имелось то, что должно иметься в приличном доме? Или это подарок от отца Чарити, профессора-классициста, забывшего по рассеянности, что этот язык им непонятен? Как бы то ни было, я удивился. Я думал, мы, скорее всего, единственная семья в Мадисоне, у которой на полках стоят Гомер, Анакреонт и Фукидид. У нас они стояли не потому, что я мог найти этим томам применение, а ради Салли.

Я снял книгу с полки, повернулся и сказал:

– Салли! Почитай нам из Гомера. Услади наш слух гекзаметром.

Общее оцепенение.

– Вы читаете *по-гречески*? – спросила Чарити. – Да, да, очень прошу! Тс-с-с-с, *тишина*. Салли будет читать Гомера.

Салли стала было противиться, но позволила себя уговорить. Полупьяный и гордый, я смотрел, как она подходит к пианино, встает и настраивается на чтение. Она обвела нас взглядом, улыбке придала серьезность. Когда ее припирают к стенке, она проявляет великое достоинство и присутствие духа, а читая этих древних поэтов, она способна заставить тебя прослезиться. Смысла слушатель не понимает, но от этого только лучше, и намного. Ее декламация идет из древности, и в голосе слышен звон бронзы.

Мы умолкли. Она начала читать.

Она не только заставила кое-кого прослезиться, она вызвала бурный восторг. Возгласы, аплодисменты, восхищение. Она – просто чудо! Видит бог, я ей завидовал. Но как только хлопки перешли в общую беседу, Эрлихи поднялись, чтобы уходить. “Ну что вы! – в один голос сказали Сид и Чарити. – Время детское. Побудьте еще”. Но я заметил: настал момент, когда они молча согласились долее Эрлихов не удерживать. Эрлихи пожали руку тете Эмили, которая по-прежнему сияла, сидя на диване, и, проходя мимо меня, Ванда наклонилась ко мне свою дебелую фигуру и что-то произнесла – напряженно, яростно. Я был застигнут врасплох.

– Что? – переспросил я. – Извините, не расслышал.

– Мой муж тоже читает по-гречески! – сказала Ванда вполне громко и двинулась дальше – туда, где Сид держал ее пальто, а Чарити открывала дверь. Со светлыми улыбками радушных хозяев они прокричали вслед Эрлихам: “Спокойной ночи, доброго пути! Спасибо вам большое! Спокойной ночи!” Вернувшись к нам в гостиную, они нарочно сделали расстроенные, кислые лица.

В общем и целом – прекрасно. Поверх чувства вины я испытывал торжество. Нас по-прежнему окружали в этой комнате тепло, свет и доброта, а те, кто не нашел себе в ней места, кого одолевают зависть и злость, кто бунтует против Афины Паллады, – те отправились в холодную тьму. Я знал, каково им, и сочувствовал. Но я знал при этом, каково *мне*. Мне было хорошо до невозможности.

Через некоторое время гости начали расходиться, и угадайте, какая пара ушла последней. Ни Салли, ни я не были раньше знакомы с такими людьми, как Ланги, и мы оба впервые в жизни провели такой великолепный вечер. И когда мы все-таки собрались восвояси, Ланги не захотели с нами расставаться. Тетя Эмили уже поднялась к себе в спальню, Эбботы и Стоуны отправились по домам. Стоя с китайским халатом Салли в руках, Сид вдруг сказал:

– Погодите уезжать. Давайте прогуляемся, а? Но постойте, холодает, в этом вы замерзнете. Чарити, где наши бурнусы?

Она знала где и принесла; облачившись в эти длинные белые шерстяные одеяния с капюшонами, мы, все четверо, вышли в зябкую ночь. Если бы кто-нибудь посмотрел в окно, он мог бы принять нас за Фра Липпо Липпи и его дружков из поэмы Браунинга, пробирающихся к себе в монастырь после веселой ночи в городе.

Помню, какая стояла вокруг тишина, как пусты были улицы в это время, как громко раздавались наши шаги по мостовой, а потом приглушенно по траве, а потом с хрустом по опавшим листьям. Кое-где поблескивал иней. Наше дыхание, наши голоса поднимались вверх и смешивались с тенями под деревьями, со светом дуговых фонарей, с мерцанием звезд.

Это не было похоже ни на что из испытанного в Альбукерке и Беркли. Выглядело иначе, звучало иначе, пахло иначе, ощущалось иначе. И новейшей, лучшей частью всего этого были два наших спутника. Эта картина жива и сейчас в моей памяти, такая же контрастная, как картина людской ненависти у Хаусмана, но противоположная по смыслу. Мы не могли наговориться. Сообщали друг другу, что нам нравится, что уже сделали и что хотели бы сделать. Когда ненадолго умолкали, в свои права вступала морозная, приятно охлаждающая средне-западная ночь.

– Вам не кажется, что здесь открываются *огромные возможности*? – спросила нас Чарити. – Нет у вас такого же чувства, как у нас, – что здесь все страшно молодо и многообещающе, что столько всего здесь можно сделать, отдать, столькому научить и научиться? Мы с Сидом чувствуем себя такими везучими! Там, в Кеймбридже, некоторые нас жалели, как будто Висконсин – Сибирь какая-нибудь. Они просто *не понимают*. Не понимают, сколько тут тепла, дружелюбия, открытости, энтузиазма. И ума, таланта!

– Может быть, – продолжала она, – студенты не такие подготовленные, как в Гарварде, но многие не менее сообразительные. Если на Среднем Западе есть захолустные Уайнсбург²³, то потому только, что они не получают *шанса* стать *чем-то другим*. От них ждут слишком многого слишком рано. Преподавателям терпения не хватает, они не дают того, что должны дать. Вместо этого убегают в Чикаго, или в Нью-Йорк, или в Париж. Или просто сидят дома, и ворчат, и брюзжат, и распространяются о *духовном убожестве*.

– Не знаю, как вы, но мы с Сидом считаем среднего размера город вроде этого, с хорошим университетом, подлинным воплощением американской мечты. Вы так не думаете? Может быть, чем-то подобным была Флоренция в начале пятнадцатого века, незадолго до этого взрыва, до расцвета искусств и наук, до всех открытий. Мы хотим тут хорошенько обосноваться и принести как можно больше пользы, помочь всему этому вырасти и вырасти самим. Мы твердо намерены дать самый что ни на есть максимум. Давайте не будем считать свою задачу выполненной, пока не превратим Мадисон в место *паломничества*!

В таком духе она продолжала квартал за кварталом, а Сид что-то бормотал, и поддакивал, и побуждал ее говорить, и слушал. Она произнесла много такого, о чем мы и сами, может быть, думали, на что надеялись, но что стеснялись выразить вслух. Ни разу в жизни мы не ощущали такой близости к двум людям. Чарити и Салли предстояло соревнование по вынашиванию ребенка, мы все находились в начале чего-то, будущее разворачивалось перед нами, как белая дорога под луной. Когда мы вернулись к их большому освещенному дому, он показался и нашим домом тоже. В первый же вечер он принял нас как родных.

Это чувствовали мы все. Ручаюсь в этом. Ибо перед их калиткой, прежде чем мы, так и не сняв бурнусов, уехали, мы, все четверо разом, со счастливым смехом обнялись – до того были рады, что из триллиона шансов во Вселенной нам выпал именно этот: оказаться в одно время в одном городе и в одном университете.

²³ “Уайнсбург, Огайо” – цикл рассказов американского писателя Шервуда Андерсона (1876–1941).

5

Мадисон. Он вспоминается фрагментарно, кусочками.

Мы сидим на ветхих садовых стульях у себя на запущенной лужайке. Я проверяю студенческие работы, хотя с похмелья болит голова. Салли по-прежнему старается одолеть “Людей доброй воли” Жюль Ромэна. Суббота, предполуденный час, ночью мы вернулись от Лангов в их романтических бурнусах, слишком возбужденные, чтобы спать. Разговаривали, занимались любовью, потом опять разговаривали, наконец уснули. Теперь – новый день.

Ясное небо, голубизна, на озере Монона белые треугольники парусов, легкие волны, которые отсвечивают слишком ярко для моих воспаленных глаз, чей взгляд добросовестно устремлен на сочинение первокурсницы, описывающей Холм обсерватории. Кое-что привлекает мое внимание, и я громко смеюсь. Салли поднимает глаза от книги.

– Послушай-ка: “Вершина холма округлая и гладкая, на ней сказались столетия эротизма”. Она что, так надо мной подшучивает, или это экспонат для коллекции ляпов Дэйва Стоуна?

– Я думаю, она хотела сказать: “эрозии”.

– Я тоже так думаю. Но чувственное томление читается между строк. Все равно что “гении Италии” написать без пробела. Когда непреднамеренно, смешней всего.

– Да, пожалуй.

Ветер шевелит крону серебристого клена у нас над головами, и некоторые листья с шелестом падают на траву. По озеру проплывает суденышко: стук дерева о дерево, плеск воды, хлопанье парусины. Вдруг из-за угла дома – голоса. Сид и Чарити, одетые для прогулки, бодрые, настойчивые. Зовут нас на пикник. Поскольку у нас нет телефона, они решили действовать наудачу: собрали кое-какую провизию и просто *приехали*. Вчера вообще-то была годовщина их свадьбы. Они думали закончить вечер шампанским, но Эрлихи слегка испортили общее настроение, поэтому они не стали. Но все-таки им хочется отпраздновать, и хочется отпраздновать с нами. Они знают за городом один холм, с которого хороший вид, там весной они нашли цветы сон-травы, а сейчас там могут быть орехи гикори. Съестного ничего брать не надо – все уже уложено.

Энергичные, живые и благодаря своей вчерашней умеренности в питье не страдающие от похмелья, они своим прочищающим напором выталкивают нас из дренажной трубы обязанностей. Мы заносим книги и бумаги к себе в подвал, берем несколько яблок для пикника, чтобы уж не совсем с пустыми руками, и идем вокруг дома к их машине.

Там как раз почтальон. Он дает мне письмо, и я вижу обратный адрес. Мой взгляд прыгает навстречу взгляду Салли. Надежда, отскочив рикошетом, летит по Моррисон-стрит, точно шальная пуля. Когда я подсовываю палец под клапан конверта, Салли слегка хмурится: не сейчас, не распечатывай свою почту на людях. Сид уже открыл дверь “шевроле”.

Но я не в силах ждать. Никогда не был в силах. Я всю жизнь распечатываю почту на людях. И сейчас сдерживаться могу не больше, чем мог сдерживаться Ной, чтобы не выхватить из голубиноного клюва зеленый лист. Уже начав двигаться к машине, чтобы сесть в нее, разрываю конверт, бросаю взгляд – и испускаю радостный вопль.

Салли понимает мгновенно, но Сид и Чарити смотрят с удивлением.

– Что там? Какая-то добрая весть?

Я даю Сиду письмо. Журнал “Атлантик мансли” хочет напечатать мой рассказ, который я написал за неделю перед началом занятий. Мне заплатят двести долларов.

Ланги пускаются с нами в пляс вокруг машины, и всю дорогу их сияющие лица то и дело поворачиваются к нам, сидящим сзади. Сид и Чарити задают множество вопросов, их

распирает от удовольствия, они греют меня и Салли своей беспримесной, щедрой радостью за нас. Каждый из четверых открыт на полную.

Припарковываемся, пускаемся в путь по сельской дороге между оголенных кукурузных полей, над которыми каркают вороны; Салли и Чарити уходят немного вперед. У Сиды за спиной большой рюкзак-корзина, который он не позволяет мне взять ни на минуту. Женщины, когда первоначальный порыв слегка ослабевает, бредут не спеша, часто останавливаются поглядеть на придорожные растения, и мы с Сидом сознательно замедляем шаг, чтобы их не нагнать.

Большей частью слышен высокий оживленный голос Чарити. Она полна энергии, задора, интереса ко всему. Кажется, вернулась к теме деторождения: уговаривает Салли не бояться, *отдаться* происходящему и получить от него максимум. Сама намеревается быть на этот раз все время в сознании. Никакого эфира, если не станет совсем уж невыносимо, а этого она не ожидает, третьи роды все-таки. Она разработала систему. Возьмет с собой в родильный зал маленький флажок и, если все-таки почувствует, что не может терпеть, даст этим флажком сигнал анестезиологу. Хорошо было бы зеркало там поставить, чтобы видеть роды.

Это моя теперешняя догадка, но не совсем уж необоснованная. У них часто такие разговоры. Что до меня, я иду под нежарким осенним солнцем, и письмо в кармане рубашки греет, будто живое. Двести долларов – это одна десятая моего годового оклада. Рассказ я написал за неделю. Если работать даже вчетверо менее продуктивно, можно удвоить мой здешний доход. Говорю себе, что так оно и будет. Решаю, что подарю Салли на Рождество небольшой проигрыватель и кое-какие пластинки, чтобы скрасить ее одинокие зимние дни в подвале и чтобы мы могли слушать музыку вместе, как Ланги.

Сид идет подле меня, корзину несет за плечами так, словно она весит не больше его рубашки. Вижу, что он серьезный, вдумчивый человек. Борцовская хватка его ума не молниеносно быстра, но он не отпустит идею, пока не положит ее на лопатки или она не покажет хлопками по коврику, что сдается. Письмо из “Атлантики” навело его на разговор о писателях и писательстве.

Он верит, что у каждого серьезного писателя есть призвание, которому присуще нечто мистическое. Автор не ум и не выучку пускает в ход, а чудный дар, который накладывает и свои обязательства. Сид верит, что я этим даром наделен. Удивляется, что я никогда не писал стихов: по его мнению, я поэт в душе, только нераскрывшийся, – и удивляет меня, цитируя на память фразы из единственного моего рассказа, который читал (и единственного опубликованного). По ним, считает он, видна конкретность и яркость моих образов, мое чувство места, богатство языка.

– Вы это умеете, – говорит он чутько жалобно. – А другой будет годы учиться и так и не научится. По первому же абзацу вашего первого рассказа понятно, что вы уже умеете. А теперь и новый рассказ. За неделю. Боже мой, да у меня неделя уходит на то, чтобы карандаши наточить и задницу удобно устроить на стуле. Завидую вам. Вы музыкальный инструмент, который издает только чистые звуки. Никаких блюзовых нот. Вы нашли свой путь.

Приятно слышать, но меня смущает, что я слышу это от него. Я впитываю похвалу, но считаю своим долгом выразить скепсис в отношении дара. Я верю, что большинство людей в той или иной мере талантливы в какой-либо области – форм, красок, слов, звуков. Талант лежит в нас, как трут в ожидании огнива, но некоторым людям, не менее талантливым, чем другие, не везет. Судьба отказывает им в огниве. Либо эпоха не та, либо неважно со здоровьем, либо не хватает энергии, либо слишком много обязательств. Да мало ли что.

Талант, говорю я ему – и говорю с убеждением, – это только половина удачи. Никакой серафим не касается наших детских уст горящим углем, чтобы мы неизбежно начали “лепетать стихами” или “говорить языками”. Нам либо везет с родителями, педагогами, жиз-

ненным опытом, обстоятельствами, друзьями, эпохой, физическим и умственным капиталом, либо не везет. Мы родились в англоязычной среде, в Америке с ее богатством возможностей (я говорю это в 1937 году, после семи лет Депрессии, но говорю серьезно) и уже поэтому должны считать себя невероятно удачливыми. А что если бы мы родились бушменами в пустыне Калахари? Что если бы наши родители были голодными крестьянами в Уттар-Прадеш и мы, желая обратиться ко всему человечеству, вынуждены были довольствоваться пятьюстами калорий в день и из языков знали только урду? Что пользы от туза, если другие карты у тебя в руке – безнадежная шваль?

Сид, подобрав под деревом палку, бьет по стеблям расторопши и ваточника вдоль дороги, после его ударов летят облачка пуха и семян. Удивляя меня угрюмостью тона, он говорит:

– А что если ты родился в Питтсбурге и твой отец считает, что литература – это бантики, что она для женщин и маменькиных сынков?

Некоторое время идем молча.

– Это вы про себя? – спрашиваю наконец.

Перестав на время обезглавливать придорожные растения, он смотрит на меня искоса.

– Мое самое яркое воспоминание об отце – это абсолютно непонимающее лицо, презрительное даже, когда я сказал ему, что хочу специализироваться в Йеле в английской литературе. А еще рыжие волосы, которыми его ладони были покрыты с тыльной стороны. Его руки всегда казались мне ухоженными, чисто вымытыми руками душителя. Я с младенчества его боялся. Эта рука с рыжим пухом была символом власти, грубости, филистерства, пресвитерианской нетерпимости, деловой безжалостности – всего, чем я не хотел руководствоваться. Вы могли бы назвать это невезением? Или это обстоятельство, которое мне следовало преодолеть?

Захваченный врасплох, крайне удивленный, я осторожно замечаю:

– Но вы же преодолели. Вы стали изучать литературу. Вы ее преподаете.

– Без его благословения. Я специализировался в экономике, но потом он умер, и я переключился. И кроме того – да, я преподаю, но идея была немножко другая.

Говоря это, он снял очки, засунул в карман рубашки и застегнул пуговицу. И сразу приобрел вид человека физически крепкого, вид более приветливый и менее академический. Впоследствии я много раз наблюдал эту перемену. Очки, зимняя бледность и преподавательская “униформа” иной раз делали его похожим на Каспара Милкетуоста²⁴. Но на свежем воздухе, по-летнему загорелый, он был другим человеком.

Он пыливо косит на меня взгляд.

– Чарити говорит, ваш отец был автомеханик.

– Да.

– Он как-нибудь высказывался о поэзии? Говорил, что это бантики?

– Сомневаюсь, что он много о ней думал.

– То есть просто предоставлял вам развивать ваше дарование.

– Он не был интеллектуалом. Работал не покладая рук, варил домашнее пиво, ходил на бейсбол, косил лужайку, жил честно. В целом мы с ним очень хорошо ладили. Мне кажется, он мной гордился. Говорил мне: “Занимайся, чем тебе нравится. Скорей всего окажется, что это ты можешь делать лучше всего”.

– Ха! – говорит Сид. – Он был мудрый человек. Больше ничего от отцов и не требуется. – Он лупит палкой по золотарнику, а потом сталкивает ногой лепестки с дороги. – У

²⁴ Каспар Милкетуост (Каспар Молочный Тост) – мягкий, застенчивый персонаж американских комиксов первой половины XX века.

меня многое было бы иначе, если бы мой отец сказал мне что-нибудь вроде этого. Если бы не разочарование, а гордость выразил, когда я напечатал пару-тройку стихотворений.

– Вы пишете стихи?

– Писал. Пытался, без большого успеха и без особых поощрений. Я единственный сын, предполагалось, что после хорошей смиряющей двадцатилетней учебы я унаследую его банковское дело. Вряд ли он имел что-либо против поэзии как хобби. Но изучать ее всерьез, сделать своей профессией – этого он не мог вынести. И я стал изучать экономику. Через месяц после того, как у меня пошел третий год обучения, он скоропостижно умер. В середине семестра я поменял специальность на литературу и с тех пор постоянно чувствую себя виноватым. Точка. Конец дурацкой истории.

Мы идем по дороге. Вороны машут крыльями в синеве. На холме впереди лес пылает желтизной и бронзой.

– Почему конец? – спрашиваю. – Почему виноватым?

Обдумывая вопрос, он поддерживает заплечную корзину выше.

– Пожалуй, вы правы, – говорит он. – Может быть, не следовало называть это концом. И я вернулся-таки к сочинению стихов. По правде говоря, и не прекращал. Кое-что опубликовано, большей частью в мелких журналах, но несколько и в крупных: в “Нейшн”, в “Сатердей ревью”. Но всякий раз, когда писал стихотворение, я чувствовал на себе его взгляд. Всякий раз, когда видел стихотворение в журнале, читал его отцовскими глазами, и что-то меня душило. Потом поехал в Гарвард в магистратуру, а там – ну, вы понимаете. Очень много времени тратится на наполнение сосуда, а на то, чтобы черпать из него, ни времени, ни сил уже не остается. Потом преподавание – свои заботы. Я попросту махнул на стихи рукой.

– Прочтите что-нибудь.

Но он не стал. Мне понятно: отец по-прежнему стоит у него над душой и говорит, что его стихи – любительщина, глупая трата времени для взрослого человека. Представить их на суд настоящего писателя с письмом из “Атлантика” в кармане – неловко, невыносимо неловко. Хотя я не понимаю, чем стихи в “Нейшн” и “Сатердей ревью” уступают по значимости рассказу в “Атлантик мансли”. Я был бы очень высокого мнения о себе, напечатаясь я в этих журналах студентом, и я не согласен с ним, что в нем чего-либо не хватает: есть и трут, и огниво.

Твердо убежденный, что то, что мы избираем, нам по плечу, я уговариваю его вернуться к стихотворству, проявить упрямство, не позволять никому отбивать у себя охоту. Магистратура, так или иначе, позади; жизнь у него такая, какой он для себя хочет; он сдал все экзамены, какие надо было сдать. Я проявляю невыносимую самоуверенность человека, добившегося маленького успеха.

Но он не желает разговаривать о своих стихах. Он сворачивает на избитую тему, увлекательную для непишущих людей: почему писатель пишет? Повышение самооценки – само собой. Что еще? Психологический дисбаланс? Невроз? Травма? А если травма, то где граница, после которой она перестает играть стимулирующую роль и становится разрушительной? Давление со стороны академической среды, требующей публикаций, – много ли оно значит? Немного, соглашаемся мы. А тяга к преобразованию общества, к социальной справедливости?

Кто такой писатель? Репортер, пророк, сумасшедший, артист развлекательного жанра, проповедник, судья – кто? Чей он рупор? А если свой – да, свой собственный, ясное дело, – то насколько это оправданно? Если прав Анатолий Франс, полагавший, что лишь Время творит шедевры, то великая литература – только “пробы и ошибки”, проверяемые временем, а раз так, самое главное – быть свободным, исходить из своего дара, а не из внешних факторов. Дар сам себе служит оправданием, и нет способа, помимо обращения к потомству, точно

определить, ценно ли чье-то творчество или это всего-навсего эфемерное выражение некой прихоти или тенденции, артикуляция стереотипа.

Но на самом-то деле, говорит он, определить *можно*, разве не так? Он всерьез повторяет мне старую банальность: мол, не бывает “неплохих” стихотворений, как не бывает полусвежих яиц, – и спрашивает, может ли быть довольна собой курица, несущая полусвежие яйца.

Я не могу не сказать ему, что он упустил из виду один важный стимул и что внешние факторы еще как важны. Библиотеки полны подлинных шедевров, созданных для денег. Граб-стрит²⁵ – такой же важный источник хорошего, как Парнас. Ибо если писателю по настоящему туго, если он в пиковом положении (в положении, подразумеваю я, вроде моего недавнего), то для него сомневаться в себе – непозволительная роскошь и он не может допустить, чтобы его работе препятствовали чужие мнения, даже отцовское.

– Или мнение жены?

Я опять изумлен.

– Не говорите мне, что Чарити против поэзии.

Помахивая палкой, он идет с задумчиво опущенной головой.

– Она хочет, чтобы я получил постоянную должность.

– Стихи этому поспособствуют. В конце концов, у нас ведь кафедра английского.

Сид слегка зажимает нос двумя пальцами, большим и указательным, словно защищаясь от дурного запаха.

– Чарити страшно практичная, намного практичней меня. В прошлом году провела исследование по всем профессорам и старшим доцентам: что они сделали, чтобы получить пожизненную должность. Результаты ожидаемые. Самое лучшее – научная монография. Написал “Дорогу в Занаду”²⁶ – и должность твоя. На втором месте статьи, но их нужно очень много. Она ставит мне в пример Десерра: он берет одно понятие, скажем, “способность к совершенствованию”, и укладывает на это ложе мыслителей и писателей одного за другим. Джефферсон о способности к совершенствованию. Френо о способности к совершенствованию. Эмерсон о ней же. Уитмен. Открываешь предметный указатель к собранию сочинений – и шуруй.

– Не говорите мне, что эта галиматья нравится Чарити больше, чем поэзия.

– Нет. Просто она думает, что мне надо на какое-то время ею заняться. Говорит, это как политика. Вначале тебе надо избраться, делаешь для этого то, что необходимо; потом уже можешь отстаивать свои принципы. В университетском мире проще, чем в политике, потому что если ты, к примеру, конгрессмен, то у тебя каждые два года перевыборы, но если ты преподаватель, тебе надо только получить должность старшего доцента, и ты так же несменяем, как член Верховного суда. Тебя, может быть, никогда не повысят до профессора, но уволить не имеют права.

– Почему это так важно – полностью себя обезопасить?

Судя по всему, ему послышалось в моем тоне нечто презрительное: он бросает на меня острый взгляд, открывает было рот, но осекается, передумывает и говорит явно не то, что намеревался.

– У Чарити вся родня – профессура. Ей нравится принадлежать к университетскому сообществу. Она хочет, чтобы мы получили место и остались тут надолго.

– Вот оно что, – говорю я. – Понятно. И все же, будь я в вашем положении, я скорее бы, наверно, постарался извлечь максимум из той независимости, какую уже имею, чем лез из кожи вон, чтобы попасть в круг, который мне не очень-то по душе.

²⁵ Граб-стрит (ныне Милтон-стрит) – улица в Лондоне, где в XVIII веке жили бедные литераторы.

²⁶ “Дорога в Занаду. Исследование путей воображения” – книга Джона Ливингстона Лоуза.

– Но вы не в моем положении, – говорит Сид. Звучит чуточку холодно, и я молчу. Но через несколько секунд он, скосив на меня взгляд, добавляет: – Спросите у Чарити, какова судьба поэта на этой английской кафедре. Он тут всего один – Уильям Эллери, и он пария.

– У него пожизненная должность.

– Не потому, что он поэт, а из-за его работ по англосаксонской литературе.

– Мне не хочется думать, что вам, прежде чем вы снова начнете писать стихи, придется шесть или семь лет сочинять статьи о способности к совершенствованию у Флойда Делла²⁷.

– Пожалуй, что придется.

– Что ж, удачи вам, – говорю я. – Не сомневайтесь, что я буду вашим читателем, когда постоянная должность принесет вам независимость.

Он, смеясь, качает головой. Впереди Чарити и Салли уже пролезли сквозь ограду и начали подниматься на холм, увенчанный желтыми древесными кронами. Мы молча идем следом, приберегая дыхание для подъема.

Когда подходим к женам, они расчищают место от веток и ореховых скорлупок. Расстилаем одеяло. Чарити открывает корзину и выкладывает жареную курицу в воощенной бумаге, деревянную миску с готовым салатом, французские булочки, уже намазанные маслом, банку консервированных артишоков, черешки сельдерея, фрукты, печенье, салфетки, картонные тарелки. И наши яблоки, чтобы мы чувствовали себя внесшими вклад. Мы с Сидом лежим на траве и колем орехи камнями. Вид отсюда широкий, бронзовый и будто стилизованный под примитивистские пейзажи Гранта Вуда. Пахнет прелой травой, прелыми листьями, простором, холмами.

Чарити поднимает взгляд, яркий, как вспышка гелиографа.

– Ну, мы готовы. *Сид?*

Он проворно встает. Его рука опускается в корзину и вынимает оттуда влажный мешок. В мешке – мокрое полотенце с кусочками льда и большая бутыл шампанского (я первый раз вижу бутыл в две кварты, но, начитанный человек, понимаю, что это такое). Внезапно он приходит в праздничное возбуждение, к нему возвращается громогласная жизнерадостность вчерашнего вечера. Мне даже делается чуточку не по себе от его состояния.

– Ура! – кричит он. – Да здравствует годовщина!

Он разматывает проволоку, пробка ракетой летит в крону гикори, он стряхивает с руки пену.

– Я знаю, это показуха так стрелять. Специалисты вынимают ее аккуратно, с легчайшим вздохом газа. И все-таки лучше слишком веселое шампанское, чем никакого шампанского.

Мы подставляем картонные стаканчики, и он наполняет их. Держа в одной руке громадную бутылку, другой поднимает свой стаканчик.

– Какое событие! Как здорово, что мы при нем присутствуем! Поздравляем с началом потрясающей карьеры!

– Нет, постойте, – протестую я, и Салли подхватывает: – Нет, нет, нет! Это *ваш* день, четвертая годовщина. За ваше здоровье и счастье на долгие времена!

Пат. Мы стоим с наполненными стаканчиками, посылающими пузырьки газа в воздух, и в наших улыбках видна неуверенность, но намерения у нас достойные и альтруистичные. Через несколько секунд Чарити спасает положение:

– Пусть это будет *общий* день, и ваш, и наш. За всех нас!

Сидя на одеяле среди сухих веток, желтых листьев и голубых астр, мы с Салли пьем, кажется, первое шампанское в своей жизни, нам очень быстро наливают снова, а потом наливают еще раз. В возникших обстоятельствах мне, чтобы преисполниться радости, много не

²⁷ Флойд Делл (1887–1969) – американский писатель и журналист.

надо. Поэтому Сид застал меня в неподходящем настроении, когда, поглядев в свой стаканчик словно бы с неудовольствием, повторил тост с добавлением:

– За всех нас. Чтобы кафедральная гильотина нас пощадила.

– О чем это вы? – спрашиваю я, пожалуй, чересчур громогласно и резко. – Да, я пока еще новобранец, пушечное мясо, я новорожденный. Но кто-кто, а вы должны чувствовать себя спокойно.

– Не обманывайтесь. Руссело не далее как на днях деликатно поинтересовался, над чем я работаю. В апреле или мае будут решать нашу судьбу, и у вас-то ко дню голосования будет ого-го какая библиография, а у меня всего-навсего студенческие стишки.

Наши лица сейчас, я убежден, отражают степень понимания нами происходящего. Салли, ничего не знающая ни о каких стихах, испытывает всего лишь любопытство и интерес. Я знаю о них, но не верю, что они такие уж любительские, и не верю, что Чарити всерьез настроена против этого стихотворства. Чарити понимает: Сид, вероятно, что-то мне рассказал; но что именно, ей неизвестно. Ее взгляд прыгает с его лица на мое и обратно.

Она сидит со скрещенными ногами, пристроив на коленях миску с салатом, и вдруг с каким-то раздражением в лице сильно наклоняется над миской, затем выпрямляется.

– *Боже ты мой*, Сид! Да имей же *хоть сколько-нибудь* веры в себя! Ты великолепный педагог, все это говорят. Продолжай им быть. Если они требуют публикаций, *напиши* что-нибудь. Просто считай само собой разумеющимся, что тебе дадут должность, и они не посмеют не дать.

Мне она улыбается со всей живостью и непосредственностью, словно сообщая мне этой улыбкой, что мой успех с “Атлантик мансли” – удар по его самолюбию, что она это знает, и знает, что я это знаю, и хочет заверить меня, что ничего серьезного тут нет. *Вы* тут ни при чем, похоже, говорит мне ее улыбка; если его слова прозвучали пораженчески, причина лишь та, что ваше письмо навело его на мысли о *наших* делах.

Обеспокоенный, что к празднику примешалось напряжение, я протягиваю Сиду свой стаканчик. Он наливает мне еще шампанского, и я провозглашаю тост:

– За то, чтобы нас не могли сбросить со счета!

– Вот именно! – подхватывает Чарити. – Надо брать свою жизнь за горло и *трясти* ее. – Она изображает это обеими руками, и мы все смеемся. Мы аккуратно отступаем от тревог Сиды и того, что стоит между ним и Чарити. Накладываем на тарелки куски курицы, салат, булочки и едим, позволяя глазам умиротворенно пастись на природе, вбирать в себя пейзаж, выдержанный в мягких райских тонах, вызолоченный осенней листвой гикори. Вдруг Чарити, встав на колени, чтобы подложить нам еды, замирает, склоняет голову, слушает и свободной рукой делает жест, призывающий к молчанию.

– О, послушайте. Слышите?

Издали, постепенно приближаясь, доносится словно бы шум взволнованной толпы. Мы встаем и оглядываем пустое небо. Вдруг видим: вот они, колеблющийся клин, они летят прямо на нас, очень низко, – летят на юг по центральному миграционному маршруту и перекрикиваются на лету. Мы стоим тихо, прекратив на время людские разговоры, пока их словоохотливый гомон не стихает на отдалении и их колышущиеся вереницы не растворяются в небе.

Они прошли по нам точно губка по классной доске, стирая то, что было до них.

– Ну ведь *прелесть*, правда же? – говорит Чарити. – Когда мы задерживаемся в Вермонте или приезжаем ненадолго осенью, они иногда вот так же точно летят и кричат над Фолсом-хиллом. Вам непременно надо там у нас погостить. Комнат – хоть отбавляй. Как насчет следующего лета?

– Следующим летом, – отвечаю я, – я буду, если мне разрешат, преподавать на летних курсах, вечерами, может быть, буду мыть автоклавы в больнице, а ночами подрабатывать таксистом. Весной у нас появится маленький заложник судьбы.

– Ну, тогда через лето.

– Через лето я, может быть, буду орудовать лопатой на общественных работах.

– Фу, что за чушь, – говорит она. – Сид прав, к тому времени вы будете знамениты. *Пожалуйста*, запланируйте поездку в Вермонт. Сможете писать весь день за вычетом времени на еду, пикники, плавание и прогулки.

Большие глаза Салли, блестящие от шампанского и радостных переживаний, встречаются с моими, и она качает головой, словно не веря. Ветерок колышет ветви гикори, и с глухим стуком падает орех.

– Вы действительно хотите, чтобы мы приехали? – спрашивает Салли. – Смотрите... Опасно размахивать сырым мясом перед мордами тигров.

– Мы никогда не приглашаем неискренне, – говорит Сид. Он смотрит в свой стаканчик, а потом поднимает взгляд так, будто его удивило то, что он там увидел. Будущее, что ли? – Ей-богу, это будет просто чудесно! В общем, вы получили от нас постоянное приглашение. Приезжайте в любое время и на любой срок.

В этом дивном месте, на самом пике бабьего лета они снова выбрали нас. В обстоятельствах, когда более мелкие души позволили бы зависти разесть симпатию точно ржавчиной, они заявляют, что от души рады нашему обществу и нашей удаче. Мы вновь ощущаем на этом мирном холме то, что ощущали ночью перед их дверью, когда все четверо со смехом обнялись и слили наше морозное дыхание в единое облачко. Мы приглашены в их жизнь, откуда никогда не будем исторгнуты и не исторгнем себя сами.

Но неожиданно-негаданно я увидел, что их отношения не лишены напряженности, и, к своему удивлению, начинаю испытывать легкое покровительственное чувство к человеку, которого не далее как вчера вечером считал самым счастливым и достойным зависти мужчиной на свете.

Другой день. Мы катаемся на коньках по озеру Монона совсем рядом с нашим заснеженным кирпичным заборчиком. Серебристый воздух, серое небо, льнущие лапчатые хлопья снега, красные мокрые носы, холодный ветер, смех. Вероятно, январь; есть ощущение, что Рождество уже позади. У обеих женщин беременность вполне заметна. Салли чрезвычайно осторожна: Беркли – не то место, где можно было научиться кататься на коньках, и она боится упасть и повредить будущему ребенку.

А Чарити – та ничего не боится.

– Надумаешь падать – падай на *задницу*, – говорит она. – В худшем случае *себе* сделаешь больно.

Всего с неделю назад я видел, как она в компании жены приглашенного ирландского профессора, женщины голубых кровей, катится на санках со снежной горки за Мидлтоном. Ирландка плюхнулась на санки животом, как десятилетняя. Чарити по крайней мере имела благоразумие сесть и править ногами, но на то, чтобы не ехать наперегонки, ей благоразумия уже не хватило. Визжа, они понеслись с горы вместе. Под большим дубом уткнулись в рыхлый снег; санки застряли, а женщины поехали дальше: ирландка на животе, а увесистая Чарити на заднем месте. “Господи Иисусе!” – возопила ирландка; так, по крайней мере, мне вспоминается. Вытирая лица от снега, вытряхивая его из варежек, выбивая его из одежды, хохоча от души, они повезли санки обратно на горку, чтобы скатиться еще раз.

А теперь мы, всё такие же адепты активной жизни и физических упражнений на свежем воздухе, рисуем узоры на льду озера Монона. На сей раз согласилась участвовать и осторожная Салли, хотя только богу известно, почему это безопасней катания с горки. Тут

сзади бесшумно подкрадываются буера и норовят задеть твою голову поднятым коньком. Тут есть даже маленький аэроплан, который взлетает со льда и на него же садится. Катаешься, скажу вам прямо, с постоянной оглядкой, особенно если ты встала на коньки первый раз в жизни и тем паче если ты беременна и скоро уже родишь.

Чарити стреляет туда-сюда глазами, ее нос покраснел. Она вытирает его тыльной стороной красной варежки.

– Похоже на катание на роликах, только *плюхнуться* легче. Не наклоняйся назад, наклоняйся вперед. Просто оттолкнись – и *катись* вперед.

И она катится, тяжелая и грациозная. Дальше от берега Сид совершает рывки, срезает углы, тормозит, фонтанируя ледяной крошкой, чтобы избежать столкновения с буером.

А я тем временем ковыляю на наклоняющихся внутрь полозьях. Попытавшись помочь Салли поехать, выскальзываю из-под себя, падаю и увлекаю ее за собой, служа для нее подушкой. Явно ей нужен лучший наставник, чем я. Сид видит, подъезжает, поднимает ее с ободряющими словами, берет ее левую руку в свою правую, приобнимает ее левой рукой за плечи, кладет ее правую руку себе на талию. Робко, затрудненно она катится с ним, но вскоре начинает чувствовать ритм, вот уже осторожно отталкивается. Все уверенней они описывают дуги, отдаляясь, перемещаясь от менее ровного берегового льда к более ровному. Глядя на них, аплодируя, я забываю о себе и – *бух!* – опять выезжаю из-под себя и ушибаюсь копчиком.

Помню этот серенький снежный денек, морозный ветер, покусывающий щеки, подбородок и лоб, холод в ступнях, которым тесно в позаимствованных ботинках с коньками, свист и тархтенье от садящегося аэроплана позади меня, буер, несущийся на отдалении на одном коньке и управляемый пилотом, широко расставившим ноги и раскинувшим руки; помню, как ехали, наклонясь и отталкиваясь, Салли и Сид, как грузно и весело скользила мимо, подбадривая меня, Чарити, в то время как я пошатывался на коньках, падал, вставал и снова падал.

Но еще лучше мне помнится час в нашем подвальчике после катания: горячий ром с маслом, булочки с корицей, еще теплые после духовки, раскрасневшиеся лица, покалывание в коже, бьющая через край жизнерадостность, смех, а у Салли и у меня – непривычное удовольствие от того, что мы на сей раз дающая, а не берущая сторона.

Наши разбухшие жены сидят рядышком на кушетке, доверительно перешептываются – рожать через два месяца, – их лица в тепле порозовели. Входя из кухни с бутылкой рома и чайником для новых порций питья, вижу их, и мысль, что в этих двух женщинах бьются четыре сердца, наполняет меня благоговением.

6

Воспоминания, прихожу я к мысли, это обычно наполовину игра воображения, и сейчас я понимаю, сколь многое о Сиде и Чарити Лангах я либо вообразил себе, либо получил из вторых рук. Я не был с ними знаком ни в годы их учебы в колледже, ни когда они познакомились и поженились, и пытаюсь теперь представить себе, какими они тогда были, не могу ничего почерпнуть ни из собственной памяти, ни из каких-либо письменных источников. У меня есть только озеро в Вермонте, то, что с ним связано, и рассказы, услышанные от них самих, от Камфорт, от тети Эмили.

Вначале Сид вызвал у них жалость и желание от него избавиться. Потом он их завоевал. Это само по себе удивительно, потому что и Чарити, и ее матери всегда было неуютно в обществе мужчины, если они не могли предугадывать и контролировать его поведение. Может быть, ход обстоятельств их разоружил. С другой стороны, с самого начала они, возможно, контролировали его в большей степени, чем казалось. Когда танцовщик, исполняя па-де-де, поднимает партнершу и носит ее по сцене, он кажется сильным, как Атлас, но любая балерина скажет вам, что очень важно правильно дать себя поднять.

– Кто этот юноша? – спрашивает, воображая себе, ее мать. – Мы его знаем? Мы знаем его семью?

Допустим, они сидят у тети Эмили на веранде, глядя поверх папоротников, вымахавших до пояса, и кустов малины на озеро. День из таких, когда по небу бегут облака. Веранда укрыта от ветра деревьями, но он довольно силен, и ветки порой скребут по крыше. Эмили Эллис вяжет. Спицы снуют в ее руках, палец, на который наброшена нить, совершает быстрые круговые движения, она делает короткие паузы, чтобы подвинуть петли на спице и отмотать из клубка еще немного нити. Глаза у нее карие и острые, лицо выражает самодостаточность и веселый интерес.

Чарити сидит, развалившись на длинных качелях, волосы заплетены в косички, в руке распечатанное письмо, она машет им, словно отгоняет дым.

– Мы знакомы несколько месяцев. Он учится в Гарварде в магистратуре. Его семью ты не можешь знать – он из Питтсбурга.

Руки матери замирают. Губы поджимаются. Не без колкости она произносит:

– Вполне мыслимо, что в Питтсбурге есть люди, достойные знакомства. Ты его пригласила?

– *Нет!* Я потому сюда и приехала, что хотела быть от него подальше.

– Что с ним такое? Он как-то бесцеремонно себя ведет.

– Бесцеремонно? Нет, это *совершенно* не его случай. Он в слабом положении. Он *влюблен*, мама. Он страдает. Он не виделся со мной неделю.

– О господи, – говорит ее мать. Беззвучно шевеля губами, считает петли. – А ты? Могу предположить, что ты тоже страдаешь.

– Твое предположение полностью ошибочно. Все, от чего я страдаю, – это его пылкие признания.

Она смеется и закидывает ногу на спинку качелей. Мать смотрит на ее оголенную ногу, пока Чарити не опускает ее.

– Значит, ты не хочешь, чтобы он приехал.

– Как мы можем его остановить? Он пишет, что будет *проезжать мимо* и хотел бы заглянуть. Проезжать мимо – ну конечно. Ему только сюда и надо. Почему так прямо не сказать?

– Может быть, он хотел иметь запасной вариант на случай, если ты не будешь к нему благосклонна. Он способен на такую деликатность?

– Да, но я бы сказала – на случай *твоей* неблагосклонности. Он *болезненно* учтив со старшими, и у него настолько дикие представления об интеллектуальных заслугах нашей семьи, что он чуть колени не преклоняет, когда произносит папино имя.

– Уважать ученость – не так уж и плохо. Как долго он рассчитывает пробыть?

– Кто знает? Пока не выгоним? Он поставил себе цель прочесть за лето все драмы эпохи Реставрации, но может решить, что сделать это здесь будет не менее удобно, чем в Кеймбридже.

Материнские руки уже снова в движении, быстром и автоматическом.

– Если ты не рада этому визиту, мы можем напоить его чаем и отправить в путь-дорогу. К выражению лица Чарити добавляется легкая нахмуренность.

– Ну, не знаю... Боюсь, это будет выглядеть несколько... Мы можем устроить его в спальном домике.

– Но там же Камфорт ночует.

– Она может перейти к дяде Дуайту.

– Но принуждать ее не следует, – говорит мать. – Организуй как знаешь, если Камфорт не будет против. С другой стороны, если ты не захочешь, чтобы он оставался, надо дать ему это понять сразу. Твердо.

Чарити встает, высокая, с хорошо развитыми плечами. Если судить только по шее и туловищу, она может показаться чуть-чуть нескладной. Но голова меняет впечатление. Шея у Чарити длинная, голова маленькая, тугие косички подчеркивают ее форму. Глаза орехового цвета, зубы белые, ровные. Мать справедливо считает ее очень эффектной, и ум тети Эмили принимается за работу.

– Ладно, – безразличным тоном произносит Чарити. – Будет досаждать – прогоним.

– Так или иначе, – говорит мать, – позволь мне дать тебе совет. Если молодой человек в таком состоянии, недостойно и бессердечно было бы вводить его в заблуждение. Если с твоей стороны нет и не предвидится ничего серьезного, не внушай ему ложных надежд. Как говорится, мне не нужна его кровь на моем ковре. Помни об этом.

Так Сидни Ланг, окончив первый курс магистратуры по английской литературе, входит в мир Баттел-Понда. Он появляется, скорее всего, в послеполуденные часы, отправившись из Кеймбриджа с рассветом и вдруг, после долгой и трудной езды под дождем, когда до цели оставался примерно час, поняв, что может нагреться во время ланча. Он съезжает с дороги и два часа сидит в машине, лишив себя ланча и поглядывая на то, как вершины Белых гор на юге и на востоке то появляются, то исчезают при чередовании солнца и дождя. Привыкший использовать каждый час, он прочитывает за это время сто страниц “Миддлмарча”²⁸.

Когда ему становится ясно, что он не помешает ни ланчу, ни возможному последующему отдыху, он отправляется дальше. Минует деревню – белые каркасные домики, две улицы, главная и поперечная, ничего примечательного – и, следуя указаниям Чарити, проезжает еще одну милю до почтовых ящиков, водруженных на колесо фургона. Налево, между фермерским домом и двумя летними коттеджами, грунтовая дорога. Он сразу оказывается в лесной чаще, где отовсюду капает. Дорога вся в колеях и выбоинах, сплошные лужи, выпирающие корни. Дальше еще более глухая просека, но потом между деревьев становятся видны коттеджи и лоскуты озера. По обе стороны. Похоже, он выехал на узкий полуостров. Держась правее, он видит расчищенное место, а за ним далеко не новый коттедж, крытый гонтом. В стоящем на траве автомобиле он узнаёт машину Чарити. Два передних окна у нее

²⁸ “Миддлмарч” – роман английской писательницы Джордж Элиот (наст. имя Мэри Энн Эванс, 1819–1880).

открыты. Сид вылезает наружу, поднимает оба стекла и забирается к себе обратно, чтобы обдумать стратегию.

В поле зрения доминирует коттедж. Справа среди деревьев взгляд различает выдавший виды фронтон: спальный домик, хотя Сид еще этого не знает. Налево в густой лес, огибая молодую хвойную поросль, ведет тропа. В конце ее, чего он опять-таки не знает, находится обогреваемая железной печкой хижина-кабинет Джорджа Барнуэлла Эллиса, где единственная лампочка, свисая с потолка, освещает письменный стол, отягощенный книгами на трех мертвых языках и научными журналами на четырех живых. Профессор Эллис уже десятое лето трудится здесь над книгой о богомилах – еретической секте XII века. Он проработает над ней до самой своей смерти пятнадцать лет спустя и так ее и не закончит. Он автор книги об альбигойцах, которая сделала ему имя.

Сидни Ланг глядит на дверь в сплошной дощатой стене без окон. Надеясь, что Чарити высматривала его, он ждет, что она откроется. Но чем дольше он ждет, тем яснее ему становится, что эту дверь не открывали не один год. Она выглядит замшелой, петли и замок заржавлены. Дощатая тропка огибает дом справа. Чтобы встретить его на ней, Чарити должна выйти под дождь.

Он медлит еще несколько минут, воображая, как она появится под большим зонтом, светя улыбкой сквозь дождь. Но ее нет. И никого нет. Только монотонный стук капель, шелест и шорох мокрых древесных крон, журчание воды, стекающей с желоба над углом дома. Вокруг – насыщенная, влажная лесная зелень. Даже воздух кажется зеленым.

В конце концов, неохотно, он тянется за дождевиком, лежащим на заднем сиденье. Накрывает им голову и плечи, открывает дверь, опускает свои мокасины в пропитанную водой траву – и вперед. Горбясь, торопливо обходит дом по скользким доскам. Из-за угла слышит женский голос – ровную, размеренную речь.

Веранда Эмили Эллис – не столько веранда, сколько командный пункт. Она идет по всему фасаду коттеджа, пятнадцать футов в глубину, огороженная перилами и укрытая благодаря низко свисающей крыше от любой непогоды. Я никогда не видел ее безлюдной, никогда не видел без частично собранного пазла на карточном столе, никогда не видел, чтобы сиденье длинных качелей не было завалено домино, игральными картами и китайскими шашками, очень редко видел, что никто не играет на веранде в бридж: либо тетя Эмили учила премудростям игры кого-то из детей, либо она и Джордж Барнуэлл темпераментно, азартно сражались после дневного отдыха против дяди Дуайта и тети Хезер.

Стол для бриджа стоит в дальнем конце, не на ходу – а ходят тут беспрерывно. Хотя обе дочери Эллисов уже выросли: Чарити окончила Смит, Камфорт учится там же, – здесь пасутся бесчисленные двоюродные и троюродные братья и сестры, простые и внучатные племянники и племянницы, соседские дети, дети знакомых, приехавших погостить или пришедших в гости. У самой двери – доступная для всех библиотечка полезных и приятных детских книжек, в числе которых я заметил “Ветер в ивах”, “Руководство для бойскаута”, полного “Винни-Пуха”, “Черного Красавчика”, “Маленьких женщин”, “Олененка”. Здесь же – стопки номеров “Нэшнл джиогрэфик”.

Тетя Эмили – сторонница летней свободы. Ее не слишком волнует, что именно дети делают, если они делают *что-то* и понимают, что они делают. Чего она не выносит – это праздности и сумбура в детских головах. Когда дети отправляются в поход, она сует им в рюкзаки справочники по птицам и цветам и по возвращении спрашивает, что нового они узнали. Когда она идет с ними в поход с ночевкой (у нее имеется своя личная старенькая палатка), они могут быть уверены, что предстоит поучительная беседа о звездах у костра. А в такие дождливые дни, как этот, она садится и ждет, будто уверенный в успехе паук посреди

своей паутины, пока скука не пригонит на ее веранду всех здешних детей, и тогда она читает им или учит их французскому.

Сейчас она читает им “Гайавату”. Она поклонница Лонгфелло, чей дом в Кеймбридже, достопримечательность Браттл-стрит, находится всего в каком-то квартале от ее дома, и она чувствует уместность “Гайаваты” в этих северных лесах. Она читает громко, чтобы ее слышали поверх дождевого стука и журчания:

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря²⁹.

Маленькие индейцы, сидящие около тети Эмили полукругом, получают впечатление, которое останется у них на всю жизнь. Звук ее голоса окажет влияние на то, как они будут воспринимать самих себя и окружающий мир. Этот голос станет частью дорогой для них атмосферы Баттел-Понда, ярким лучом в многоцветном чуде детства. Восприимчивые в этом возрасте, они навсегда сохраняют в себе образы темного леса и сверкающего озера. Природа неизменно будет представляться им благодетельной, будет представляться в женском облике.

Если сов он слышал в полночь —
Вой и хохот в чаще леса,
Он, дрожа, кричал: “Кто это?”
Он шептал: “Что там, Нокомис?”
А Нокомис отвечала:
“Это совы собрались
И по-своему болтают,
Это ссорятся совята!”

Иные из этих детей, может быть, годы спустя будут пробуждаться ночью от раздавшегося во сне звучного голоса, пересказывающего ирокезские мифы в хореических ритмах финской “Калевалы”, и в их душах будет просыпаться тоска по определенности, по уверенности, по естественности, по авторитету — словом, по тому времени их жизни, над которым верховенствовала тетя Эмили.

В слабо развитых культурах, говорит тетя Эмили всякому, с кем у нее заходит беседа о воспитании детей, юные учатся посредством подражания родителям. Девочки осваивают домашнее хозяйство и женские обязанности, включая материнство, играя в “дом” и приглядывая за младшими братьями и сестрами. Мальчики идут с отцами в поле и в кузницу, имитируют их обращение с орудиями и с оружием. И мальчиков, и девочек наставляют на пред-

²⁹ Здесь и далее пер. И. Бунина.

мет того, как надлежит себя вести на символических церемониях, знахари, шаманы и особо уполномоченные взрослые – в нашем обществе этому соответствуют школа, грамота, чтение. Но у нас (она имеет в виду Кеймбридж) мужчины (она имеет в виду тех, кто подвизается на ниве образования и культуры) уже не берут в руки ни орудий физического труда, ни оружия. Девочки по-прежнему могут подражать матерям, но ребенок мужского пола мало видит в занятиях отца того, что дало бы ему пищу для игр. Женщины должны поэтому давать образцы поведения как девочкам, так и мальчикам, должны выводить их на пути, которых, возможно, не нашли для самих себя, а прежде всего – поощрять у них напряженную работу ума. Делать ровно то, что делала Нокомис для своего осиротевшего внука Гайаваты.

Ее рассуждения об упадке мужского властного начала, конечно, верны. Во время калифорнийской Золотой лихорадки Новую Англию покинула четверть мужского населения. Другую четверть унесла Гражданская война: одни погибли, другие осели где-то еще. Оставшихся – тех, кому не хватило пороку стать ни аргонавтами, ни воинами, – изрядно потеснили ирландцы, португальцы, итальянцы и франко-канадцы. Эти оставшиеся отчасти утратили бывшее политическое положение, но статус во многом сохранили. Лучшие из них (она имеет в виду таких, как Джордж Барнуэлл Эллис) продолжают традиции Эмерсона и других носителей просвещенной веры. Они преподают в Гарварде и менее прославленных учебных заведениях, они соединяют в себе ученость и моральную высоту, они любят Природу.

И они, хотя ждуть от тети Эмили такого вывода было бы чересчур, проложили путь Новым Гуманистам, чей образ мыслей в тридцатые годы доминировал во многих колледжах. У двоих из них я учился, и они советовали мне ради моего душевного блага читать других.

Это были люди, подобные Ирвингу Бэббиту из Гарварда, у которого Сид Ланг старательно учился благопристойности, учился *nil admirari*³⁰ и не слишком успешно пытался перенять сухую рассудительность, и Полу Элмеру Мору из Принстона, под чьим руководством Марвин Эрлих корпел над греческим. Эрнест Хемингуэй однажды высказал догадку, что все Новые Гуманисты произошли от благопристойных сношений. Имелся один и в Висконсине – он был руководителем диссертации Эда Эббота о романтических излишествах в “Комусе” Мильтона. Эд, у которого было больше общего с разнузданным Комусом, опаивающим путников вином, чем с Мильтоном и с руководителем диссертации, выразил свои чувства в четверостишии:

Ром пригвоздим! Распнем коньяк!
Здесь гнусный Комус, архивраг!
Кто скажет: Комус гуманист —
Дрожи пред казнью, словно лист!

Но вернемся к тете Эмили. Новоанглийские женщины, оставшиеся на месте, имели скудный выбор мужчин помимо ирландцев, португальцев, итальянцев и франко-канадцев – тех, кто по религиозным, экономическим, социальным причинам был неприемлем. Некоторые из женщин развили в себе мужские черты и взяли на себя мужские в прошлом роли. Иные сделались поборницами чего-то: аболиционистками, последовательницами Сьюзен Б. Энтони³¹ или антививисекционистками, участвовали в демонстрациях, подвергались арестам, писали возмущенные письма в газеты, выступали на митингах; они стали общественно значимыми фигурами, не забывая при этом, что они дамы. Даже те, что нашли себе пару из числа поредевших мужчин Новой Англии, брались за то, за что не брались их бабушки. В

³⁰ Ничему не удивляться (лат.)

³¹ Сьюзен Браунелл Энтони (1820–1906) – американская феминистка, суфражистка, борец за гражданские права женщин.

зрелом возрасте они стали матриархами, другие – старыми девами. История Новой Англии ясно показывает: когда мужчин, чтобы двигать мир дальше, не хватает, женщины вполне способны их заменить.

Джорджа Барнуэлла Эллиса никакой ребенок никогда не сопровождал на работу, и у него не было и нет орудий труда, обращение с которыми можно было бы имитировать. Его повседневные дела просто невозможно взять за образец. Рассеяннo-приветливый, он приходит к завтраку и вскоре после него исчезает: зимой отправляется в свой кабинет на факультете богословия, где ребенок вряд ли вообще нашел бы себе хоть какое-нибудь занятие, летом идет по тропинке в свою хижину-кабинет, куда, согласно его невысказанному желанию и прямому повелению тети Эмили, юным путем заказан.

Зимой он возвращается только к ужину, но летом, когда можно быть не таким строгим к себе, у него другой распорядок. Ровно в двенадцать он появляется из-за угла веранды; походка у него жесткая, скованная, редкие волосы стоят торчком. Снимает с перил не вполне высохшие после вчерашнего купания плавки и идет переодеваться. После этого они с тетей Эмили направляются к причалу, и, пока она, бросившись в холодную воду, точно морской лев, и подняв изрядную волну, проплывает добрых полмили через бухту и обратно, Джордж Барнуэлл вяло плещется у берега, где мелко и вода теплее, большей частью лежа на спине, чтобы уберечь свои носовые пазухи. Когда Эмили энергично вылезает, отдуваясь, издавая восклицания и трясая пальцами, они вместе идут обратно на веранду, где наемная помощница к их приходу организует ланч.

После ланча тетя Эмили читает или вяжет на веранде, а Джордж Барнуэлл уходит в комнату поспать. В два тридцать показывается снова; его поведение выглядит лишенным цели, но в нем есть что-то от неумолимости управляемого снаряда. Он идет по тропинке на новое randevu с богомилами. В пять возвращается на веранду, где тетя Эмили и его брат Дуайт с женой Хезер ждут его за столом для бриджа. То, что Майлз Стэндиш³² получал от столкновений с воинственными индейскими вождями, Джордж Барнуэлл получает от напряженной партии в бридж. После ужина он до десяти читает какой-нибудь детектив и ложится спать.

Не шаман он, нет, как мог бы в свое время выразиться журнал “Тайм” с его любовью к инверсиям. Он мягкий, уступчивый, ироничный, рассеянный человек, именитый и потому достойный почтения, беспомощный и потому требующий присмотра. Отношение к нему тети Эмили не сильно отличается от ее отношения к любому ребенку. Он напоминает хорошо обученного спаниеля: по команде садится, ждет, говорит. Он даже поет, звучно и с чувством, как дети, хоть и вечно фальшивит, когда тетя Эмили, используя свою власть, собирает семью в расширенном составе на музыкальный вечер и твердой рукой проводит всех через *“Frère Jacques”*, *“Who Will Carry Me over the River?”*, *“O wie wohl ist mir am Abend”*, *“Clair de lune”*, *“Auprès de ma blonde”* и *“Why Doesn’t My Goose Sing As Well As Thy Goose?”*³³.

Большую часть времени Джордж Барнуэлл детей не замечает, ибо большую часть времени он проводит в Болгарии XII века. Общеизвестно, что всё, что дети усваивают, они усваивают от тети Эмили. И любой ребенок, которого она в чем-нибудь наставляет, подобен свае под копром. Когда она читает, ты слушаешь.

В конце концов какая-нибудь девочка из хуже приученных к упряжи поднимает глаза и видит Сиду Ланга, подошедшего к углу веранды; по очкам у него текут капли, дождевик натянут на голову. Она толкает локтем соседку, подносит ко рту ладонь. Тетя Эмили,

³² Майлз Стэндиш (ок. 1584–1656) – военный руководитель Плимутской колонии на раннем этапе колонизации Северной Америки. Прототип главного героя поэмы Генри Уодсуорта Лонгфелло “Сватовство Майлза Стэндиша”.

³³ Перечислены популярные песни на английском, немецком, французском языках, главным образом детские.

воздействуя на юных, уже привила им ощущение, что взрослый мужчина – либо нежелательный элемент, либо существо, не стоящее внимания. Знание о присутствии незнакомца постепенно делается всеобщим; головы поворачиваются, глаза закатываются, смешки подавляются. Тетя Эмили, ни о чем не подозревая, продолжает декламировать, Сид стоит и капает около веранды. Наконец чей-то смешок вырывается на свободу, и тетя Эмили отводит взгляд от книги. Смотрит туда, куда смотрят дети. Она, конечно, сразу понимает, кто это, но ничего не говорит. Ждет, излучая авторитет.

Сид начинает было говорить, чувствует комок в горле, откашливается и произносит напряженным тенорком:

– Прошу прощения за беспокойство. Мне... Я хотел бы видеть Чарити Эллис.

– Идите под крышу, – говорит тетя Эмили, – и садитесь. Мы кончим через несколько минут.

Он заходит под крышу, опускается в покоробленное плетеное кресло, высвобождает голову из-под мокрого дождевика. Дети плятятся, посмеиваются в кулак, пока тетя Эмили, подняв книгу повыше, не произносит строгим тоном единственное слово: “Так!” Он чувствует с несомненностью, что явился в самый неудачный момент и прощения ему не будет. Тетя Эмили читает дальше:

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
“Не стреляй в нас, Гайавата!” —
Опечи пел красногрудый;
“Не стреляй в нас, Гайавата!” —
Пел Овейса синеперый.

Минут пять-шесть Сид сидит, прикованный к плетеному креслу, пока Гайавата в своих волшебных рукавицах посещает Мэджекивиса, своего отца, в царстве Западного Ветра. Дождь льет и льет, застилая вид на озеро пеленой. Присутствие Сида отвлекает девочек, они перешептываются, закрывшись ладонями. Тетя Эмили все читает. Но за краткий промежуток, когда она велела Сиду идти под крышу, она успела составить впечатление о молодом человеке, к которому Чарити так подозрительно равнодушна.

Довольно-таки обычный студент магистратуры. Бедный, конечно, как они все сейчас. Беднее большинства, судя по потертым отворотам брюк хаки и по пятну на рубашке – похоже, она была выстирана с шоколадкой в нагрудном кармане и потом отутюжена. Хорошие светлые волосы. Не такой загорелый, как следовало бы в эту пору лета. Близорукий, судя по тому, как он сощурился, сняв очки, чтобы протереть. Глаза поразительной, незабудочной голубизны. Приятное лицо квадратной формы, слегка осунувшееся. Быстрая, рьяная улыбка.

Тетя Эмили полагает, что ей понятны его ощущения в этом кресле: он чувствует себя посетителем детского сада. Бросив на него короткий взгляд, она встречается с ним глазами, видит его рьяную улыбку. Болезненно учтив со старшими, сказала Чарити. Что ж, в этом ничего плохого нет. Но внимание, с которым он слушает ее чтение, вызывает у нее легкую досаду. На его стадии обучения “Гайавата” должен быть пройденным этапом.

Затем – топот спортивных туфель по дощатой тропке, и из-за угла, торопясь, появляется Чарити, накрывшая голову газетой. Забыв про “Гайавату”, Сидни Ланг вскакивает. Тетя Эмили закрывает книгу и взмахом руки дает юным индейцам знать, что они свободны. Для

них теперь – китайские шашки, рамми, имбирная газировка с виноградным соком. У взрослых – знакомство.

Хотя тетя Эмили видит, что ему трудно отвести взгляд от Чарити, усеянной каплями, смеющейся, раскрасневшейся, она признаёт, что манеры у Сиды Ланга и правда почтительные. Он чуть ли не слишком вежлив и порой, кажется ей, может и раздражать этим прямую, категоричную и любящую поспорить Чарити. В то же время она помнит, что Чарити, имея возможность предотвратить этот визит, так не поступила. Ничего похожего ни на скуку, ни на раздражение Чарити сейчас явно не ощущает.

– Мистеру Лангу нужно внести свои вещи, – говорит тетя Эмили. – Ты подготовила ему помещение?

– Как раз этим я сейчас и занималась.

– О, нет-нет-нет-нет-нет! – вскрикивает Сид. – Я не могу остаться с ночевкой. Я просто заехал повидаться. Мне надо будет двигаться дальше.

Чарити смотрит на него ясными скептическими глазами.

– Куда?

– В Монреаль. Я еду навестить приятеля в Медицинской школе Магилла.

– Он не может подождать?

– Не думаю. Он... мы договорились сегодня вместе поужинать.

– До Монреаля четыре часа, – говорит тетя Эмили, – к тому же сейчас льет как из ведра. Вы в любом случае не успеете. Оставайтесь по крайней мере на одну ночь – может быть, завтра Баттел-Понд будет выглядеть лучше.

– Нет-нет, дело не в этом, он и так очень красив, даже в дождь. Удивительное, тихое место. Но я не хотел вторгаться и причинять вам неудобства.

– Я уже приготовила тебе спальное место, – говорит Чарити. – И если ты им не воспользуешься, я буду *в ярости*. И мама тоже.

– А приводить меня в ярость опасно, – заявляет ее мать. – Чарити вам покажет, куда положить сумку.

Теперь Сид смущен.

– Честно говоря, у меня нет сумки. Я даже не взял с собой чистой рубашки. Просто сел и поехал.

– Чтобы поехать, – говорит Чарити, – в Монреаль. К ужину. Тебе *что-нибудь* должно было понадобиться. Что ты взял? Книги? Я ни разу тебя не видела без зеленой сумки с книгами. – Она поворачивается к матери. – Он читает *везде*: в подземке, в театре между действиями, на симфонических концертах в антрактах, на пикниках, на *свиданиях*.

В этих словах содержится немало существенных сведений для тети Эмили. Она видит, как Сид закрывает глаза в шутливом отчаянии, а тем временем робость уходит из его лица под натиском очень обаятельной улыбки.

– Ну, понимаете, прочесть надо так много, а я здорово отстал. Все прочли в десять раз больше, чем я.

– Что ты взял? – спрашивает Чарити. – Драмы эпохи Реставрации?

– Нет, от них я решил отдохнуть. Взял кое-что, чтобы закрыть белые пятна. “Миддлмарч”, “Идиот” – романы, которые раньше должен был прочесть, но не прочел.

– Тогда неси их в спальный домик, пока они не заплесневели, – говорит Чарити, – а потом пошли погуляем под дождем. Я хочу тебе показать Фолсом-хилл и *не потерплю*, чтобы ты взял с собой книгу.

– Примите меры, чтобы не промокнуть, – говорит тетя Эмили. – У вас, мистер Ланг, я вижу, есть защита от дождя. А ты, Чарити, возьми зонтик. Не надо рисковать здоровьем.

– В лес под зонтиком? Дятлы меня на смех поднимут.

Тетя Эмили прикусила язык, с которого готово было слететь что-то предостерегающее и чуточку саркастическое.

– Как знаешь, – уступает она. Затем, обращаясь к Сиду: – У нас тут немного правил, но ради нашей помощницы мы неизменно просим всех не опаздывать к столу. Ужин в семь.

– Не волнуйтесь, к столу я всегда первый, – отзывается Сид. (Хорошо, думает тетя Эмили, не такой зануда, каким вначале показался.)

Чарити заходит в дом и появляется в плаще.

– А что на голову? – спрашивает мать.

– У меня в машине есть зюйдвестка, – говорит Сид.

– Но тогда вы сами с непокрытой головой.

И тут он ее удивляет. Проводит рукой по коротким светлым волосам, ероша их, от затылка ко лбу и говорит с шутливым еврейским акцентом:

– Мокгый – и шьто с того? Больно – и шьто с того?

Потом поднимает палец и декламирует:

Горькой морскою водой я хочу захлебнуться,
Биться хочу бездыханно о сваи причала...

– Боже мой, – говорит тетя Эмили. – Какое необычное желание! Кто это написал?

– Сэмюэл Хоффенстайн, – отвечает Сид. – Он спародировал раннюю Миллей³⁴.

Он хватает Чарити под руку, и они уходят.

До этого места мое воображение трудностей не испытывает. Я знаю, какое первое впечатление окрестности Баттел-Понда произвели на Сиду, потому что помню свое собственное первое впечатление от них, и я много раз слышал рассказ тети Эмили об этом его приезде – рассказ, выдержанный и в юмористическом, и в романтическом ключе и напоминающий волшебную сказку: принцесса в заточении, принц в одежде нищего, отдаленное место, куда можно добраться только по глухим дорогам, по которым проехать ненамного легче, чем пройти над бездной по лезвию меча.

Этот летний поселок так неприметно и скромно расположен, что и с дороги, и от озера его почти и не увидишь. Летом в нем около двух тысяч обитателей, но из них тебе редко кто попадется на глаза – разве что молодая парочка в каноэ, женщина у почтового ящика или седовласый ученый, направляющийся к своей хижине-кабинету. Исключения – летние аукционы и сельский магазин в то время дня, когда привозят “Нью-Йорк таймс”. В этих случаях собираются десятки людей, а порой и сотни.

Озеро Баттел-Понд, если взглянуть на него как на картину, принадлежит к Школе реки Гудзон – к школе живописи, соединившей в себе философскую углубленность с пасторальностью. Это не курорт. Это полная противоположность курорту: ученые и преподаватели, которые составляют большую часть летнего контингента и платят львиную долю налогов, тихо воспрепятствовали всем поползновениям построить тут аэропорт, кинотеатр и вторую автозаправку, они даже не позволили кататься по озеру на моторных лодках. То, что Сид Ланг впервые увидел летом 1933 года, внешне мало чем отличалось от того, чему здесь положили начало Джордж Барнуэлл Эллис и Блисс Перри³⁵ после поездки в коляске в самом конце XIX века. Свечи и масляные лампы неохотно уступили место электрическому освещению;

³⁴ Сэмюэл Хоффенстайн (1890–1947) – американский киносценарист и композитор, автор шуточных и пародийных стихов. Эдна Сент-Винсент Миллей (1892–1950) – американская поэтесса.

³⁵ Блисс Перри (1860–1954) – американский литературный критик, писатель, редактор и педагог.

в некоторых коттеджах появились телефоны; каждые шесть-восемь лет подгнившие доски веранд и причалов заменялись новыми. В остальном – перемен немного.

Мое затруднение не в том, чтобы вообразить себе Баттел-Понд, а в том, чтобы представить себе, о чем Сид и Чарити могли говорить между собой и что они могли делать в тот день и в последующие дни, на которые он остался, отказавшись без всякого письма, телефонного звонка или объяснения от запланированного ужина в Монреале. Любовные сцены между моими друзьями никогда не привлекали меня как писателя и не были моим козырем, и, так или иначе, я не могу утверждать с определенностью, что она в тот момент была уверена в своих чувствах к нему, хотя не сомневаюсь, что чувства эти у нее были. К тому же вермонтский дождь – не самая подходящая обстановка для нежных сцен. Поэтому я просто поведу их на прогулку, на которую они вполне могли решить отправиться.

Они идут через мокрый лес на главную дорогу, поворачивают налево, проходят шагов сто и протискиваются через ворота с потускневшей надписью на табличке: *Défense de Bumper*³⁶ (чья-то профессорская шутка). Грунтовая дорога – та самая, по которой я прошел сегодня утром, – идет по склону холма под нависающими деревьями: сахарный клен, красный клен, тсуга, бумажная береза, аллеганская береза, тополелистная береза, бук, черная ель, красная ель, бальзамическая пихта, поздняя черемуха, американский ясень, липа, виргинский хмелеграб, американская лиственница, вяз, тополь, кое-где молодая белая сосна. Дочь своей матери, выдержавшая много походов со справочниками в руках по птицам, цветам, папоротникам и деревьям, Чарити безошибочно называет, где что растет. Сид, которого возили на лето в горы Северной Каролины, где лес не такой, как в Вермонте, а иногда на мыс Хаттерас, где на первом плане не деревья, а угорь и сельдь, мало что знает и охотно слушает ее разъяснения.

Дорога, изгибаясь, идет вверх от влажной земли, густо поросшей кедрами, к лугу на плоском возвышенном участке, где джерсейские коровы, красивые, точно оленухи, смотрят на них томными “очами Юноны”. Вдоль тропы – плотные заросли папоротников, с которых капает влага, их тут два десятка видов. Про них Сид тоже почти ничего не знает (по моему опыту, папоротники – чисто женская сфера), и она ему показывает: деннштедтия точечнолопастная, щитовник, оноклея чувствительная, чистоуст коричневый, страусник обыкновенный, чистоуст Клейтона, многорядник верхоплодный, орляк, венерин волос. Эти названия так же приятны его слуху, как лесные запахи обонянию. На прогалинах между участками, поросшими елью, – зеленый ковер мха в пядь толщиной, мягкого как пух, со “свечками” плауна и куполами оранжевых в белую крапинку грибов.

Сид ступает на мох мокрыми мокасинами. Прыгает на нем, как на батуте. Наклоняется, придавливает мох ладонью.

– Боже мой, – говорит он. – Хочется лечь и поваляться. А из-под какого-нибудь из этих грибочков в любую минуту может появиться гном.

– Это ядовитые грибочки, – замечает Чарити. – Красные мухоморы. *Ne mangez pas*³⁷.

– Ты все знаешь, что тут растет. Прямо чудо какое-то.

– Не такое уж и чудо. Я ведь тоже тут росла.

– Я рос в Севикли под Питтсбургом, но я ни одного тамошнего растения не смог бы тебе назвать. Ну, кроме разве что сирени.

– Ты не рос с моей мамой.

Вот они – улыбаются друг другу под убывающим дождем. Он влюблен в ровную белизну ее улыбки – а кто бы против такой улыбки устоял? – хотя в этом они почти равны, он

³⁶ Эта фраза на смеси французского и английского, видимо, означает: “Ездить на бампере запрещено”.

³⁷ Есть нельзя (*фр.*)

тоже всегда готов продемонстрировать то, что пренебрежительно называет “зубным парадом во рту”. На ней его желтая зюйдвестка, с краев которой падают капли, и этот головной убор кажется ему самым восхитительным из всех, что он когда-либо видел. Могу предположить, что ему хочется лечь с ней прямо тут, на пружинистый мох, воспроизводя сцену между леди Чаттерлей и егерем, которую он несколько раз перечитал во взятой на время у приятеля запрещенной книжке Лоуренса. Она смеется глазами, в них пляшет жизнь. Он, предполагая, тянется к ней. Она, предполагая, отбивает его руку. Так поступали девушки в 1933 году. Они идут дальше.

С дерева над ними, внезапно зашумев крыльями, слетает куропатка. Они видят снежного кролика (это вообще-то не кролик, объясняет она ему, а заяц-беляк, просто их тут *называют* кроликами). Теперь они идут между полуразвалившимися каменными заборами и древними, обломанными кленами; когда-то тут была дорога. Склоны по обе стороны, которые раньше служили пастбищами, постепенно зарастают деревьями. Она рассказывает ему о фермах, которые тут были, и показывает фундаменты, заросшие одичавшими розами, гелиотропом, сиренью со ржавчиной на листьях и девичьим виноградом, обильным, как злой сорняк.

За разговором они не заметили, как дождь перестал. На западе, высоко и далеко, проглядывает голубизна, и когда они преодолевают последний подъем и выходят на вершину, где из камней сложены очаги для пикников, взгляду открываются горы. Их названия она тоже знает. Верблюжий Горб, Мэнсфилд, Белвидер, Джей. Жиденькое солнце золотит вершины. Он расстилает на траве свой дождевик сухой стороной вверх, и они садятся.

Вид с Фолсом-хилла лишен величественности западных ландшафтов. Прелесть ему придает чередование дикого и окультуренного: косматый лес резко граничит с гладким сенокосным лугом, тут и там белые пятнышки домиков, красные пятнышки амбаров, крохотные, как скопления тли на листе, стада. Прямо под Сидом и Чарити, за лохматой вершиной более низкого холма, – озеро, имеющее форму сердца, с деревней на южном берегу. Вокруг озера практически не увидишь ни коттеджа (их тут называют кэмпями), ни пристани, ни лодочного сарая. Зеленые леса и еще более зеленые луга подходят к голубой воде, и все здесь выглядит почти таким же диким, каким должно было показаться людям генерала Хейзена, прокладывавшим через эти леса дорогу в Канаду во время Революции.

Сид вдыхает все это, вбирает через поры. Если жил когда-нибудь на свете романтик, которому лучше было бы не учиться у Ирвинга Бэббита, то это Сид. Он в большей мере принадлежит к Школе реки Гудзон, чем Эшер Дюранд³⁸, он больший трансценденталист, чем Эмерсон, он больший друг лисы и лесного сурка, чем Торо.

– Ты мне не говорила, – мягко упрекает он ее. – По-моему, это самое красивое место на свете.

– Ну, не настолько красивое, но красивое, это правда. Я люблю этот вид с холма. Хорошо, что дождь перестал. Может быть, завтра получится покататься по озеру на лодке.

– Мне остаться до завтра?

– Твой друг из школы Магилла – он не будет беспокоиться?

Это чистейшее зловердство. Он отмахивается от монреальского друга резким движением руки.

– Ты хочешь, чтобы я остался?

Экспрессивное пожатие плечами. Загадочная улыбка.

– Ты недовольна, что я поехал следом за тобой?

– Нет.

– Почему ты убежала из Кеймбриджа?

³⁸ Эшер Браун Дюранд (1796–1886) – американский художник.

– Я не убежала. Я приехала сюда в отпуск.

– И даже не сказала мне, куда направляешься. Конечно, убежала. Мне пришлось узнавать в музее Фогга, где тебя искать.

– Я решила импульсивно.

– Из-за меня.

– *Не все на свете* происходит из-за тебя!

– Но это как раз такой случай.

Пожатие плечами.

– Чарити, – спрашивает он в отчаянии, – ты хочешь, чтобы я уехал? Если так, то я уеду немедленно. У меня правда есть приятель в школе Магилла. Ждать он меня не ждет, это я выдумал, но он существует. Если мое присутствие тебе неприятно, я уберусь сию же минуту. Как я могу знать, играешь ты со мной в игры или нет? Я люблю тебя, это что-нибудь значит? Если есть шанс, я готов тут быть и ждать бесконечно, но я не хочу, чтобы меня терпели из жалости. Я хочу на тебе жениться. Я сделаю все, что для этого нужно, пусть даже на это уйдут годы. Но я не желаю быть объектом сострадания, которому не говорят правды.

– *Разумеется*, я не терплю тебя из жалости, – отвечает она. – *Разумеется*, я хочу, чтобы ты остался. Мама хочет, чтобы ты остался. Я рада, что ты приехал, действительно рада. Я на это надеялась. Но замуж! Как мы можем пожениться, когда у тебя до диплома еще два или три года? Сейчас люди голодают, стоят в очередях за хлебом – ну и где мы окажемся? Ни работы, ни перспектив, и *годы* до чего-то определенного. Да, твоя мать тебя содержит, пока ты учишься, но перестанет, если ты совершишь такой безрассудный поступок, как женитьба.

– Есть всякие способы.

– Грабить банки?

– Если понадобится. Но вопрос не в том, на что мы будем жить, а в том, хочешь ли ты.

Она смотрит на него ясными глазами из-под знойдвестки. Он тянется к ее руке, но она отводит ладонь. Сжав зубы, он сидит и смотрит на расстилающийся внизу пейзаж. У нее на лице отрешенная полуулыбка, она молчит, но, когда она меняет положение – обхватывает руками колени и отклоняется назад, – он видит, что одна ее кисть опять в пределах досягаемости. На этот раз он накрывает ее кисть ладонью и не убирает руку. Наклонившись к ней, он едва не рычит, страстный, неудовлетворенный:

– Чарити!..

Другой рукой она проводит по длинной мокрой траве и обдает его холодными каплями.

– Умерь свой пыл.

– Чертова ведьма. Скажи-ка мне одну вещь.

– Какую?

– Если ты хотела, чтобы я за тобой сюда последовал, почему меня не пригласила?

– Я не была уверена, что это согласуется с мамиными планами.

– Ты могла ей позвонить и узнать.

– Не могла. У нас тут нет телефона.

– Написать могла.

– Почта – это *не один день*.

– И поэтому ты уехала, не сказав мне ни слова.

Она смеется.

– Ты же меня нашел.

Он тянет ее за руку, наклоняет к себе.

– Чарити!..

Но она смотрит на свои часы – они показались из-под рукава, когда он потянул, – выдергивает руку и вскакивает на ноги.

– Боже мой, до ужина двадцать пять минут. Нам ни за что нельзя опоздать в первый же твой день. Это будет *губительно*.

– Для чего губительно?

Но она уже бежит. Он хватает дождевик и несется следом, как большая желтая летучая мышь, вниз по мокрому склону между полуразрушенными каменными оградами и старыми кленами. Они бегут всю дорогу до дома. За минуту до того, как служанка Дороти вносит супницу, за тридцать секунд до того, как Джордж Барнуэлл Эллис склоняет голову, чтобы произнести молитву, они, пыхтя, подходят к столу и втискиваются на два свободных стула. Чарити, чтобы облагородить свой вид к вечерней трапезе, набросила на плечи свитер, у Сида в мокрых волосах заметны борозды от расчески.

Тетя Эмили окидывает их острым, пытливым взглядом. Девятнадцатилетняя Камфорт – та же Чарити, но в более мягком, девическом, миловидном и не столь эффектном варианте – уже молитвенно опустила голову, но скашивает глаза на Сида, севшего слева от нее, а потом бросает взгляд на Чарити, занявшую место напротив. Джордж Барнуэлл, видя, что все уселись, не тратит времени на знакомство с гостем. Он складывает ладони и с благодушным видом опускает глаза в тарелку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.